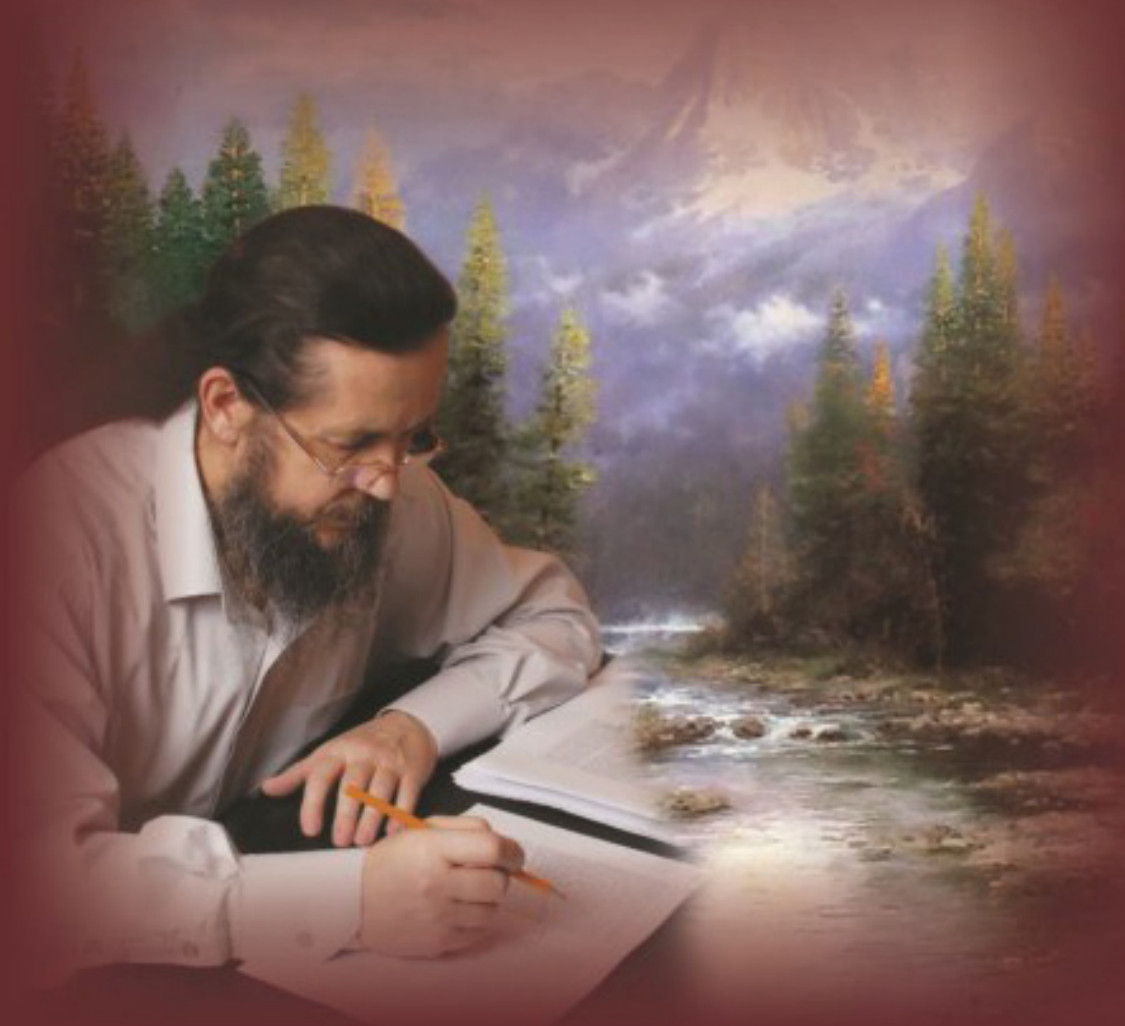


Владимир Чугунов

Русские малышки



Библиотека семейного романа

Владимир Чугунов

Русские мальчики (сборник)

МОФ «Родное пепелище»

2012

УДК 821.161.1
ББК 84 (2 Рос=Рус) 6

Чугунов В. А.

Русские мальчики (сборник) / В. А. Чугунов — МОФ «Родное пепелище», 2012 — (Библиотека семейного романа)

ISBN 978-5-98948-055-5

Чугунов Владимир Аркадьевич – протоиерей, обладатель грамоты номинанта Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия за 2011 год. «Есть ли Бог? Есть ли бессмертие?» – основные темы книги, вечные вопросы «русских мальчиков», впервые выведенных Ф. М. Достоевским в романе «Братья Карамазовы». Хотим мы или не хотим, нравится нам это или нет, но каждое новое поколение будет решать их по-своему, как и поколение тех, кому теперь под шестьдесят. Книга предназначена для широкого круга читателей. Издание 3-е, исправленное

УДК 821.161.1

ББК 84 (2 Рос=Рус) 6

ISBN 978-5-98948-055-5

© Чугунов В. А., 2012

© МОФ «Родное пепелище», 2012

Содержание

Русские мальчики	6
Часть первая	6
Глава первая	6
1	6
2	8
3	10
4	13
5	14
6	15
Глава вторая	17
1	17
2	18
3	21
4	23
5	25
6	27
Глава третья	30
1	30
2	31
3	32
4	37
5	40
6	44
7	45
Конец ознакомительного фрагмента.	47

протоиерей Владимир Чугунов
Русские мальчики. Деревенька

© Чугунов В. А.

* * *

Посвящается жене – Галине Николаевне

Русские мальчики

«... И множество, множество самых оригинальных русских мальчиков только и делают, что о вековых вопросах говорят у нас в наше время».

Ф. М. Достоевский «Братья Карамазовы»

«Человека чести и ума, таланта и сердца – не спрашивают о его «предках», ибо он сам есть «предок» для грядущего потомства».

И. А. Ильин

Часть первая

Глава первая

1

Пастушеский сезон 1989 года был последним годом моего своеобразного затворничества и казался завершающим перед вступлением в новый период жизни.

Той осенью в меня стреляли. Теперь мне кажется, выстрел этот имел некое символическое значение. Как бы обрывалась связь с прошлым или пуповина. Кончалось время ученичества, я стоял на распутье, как и восемь лет назад, в 1981 году, и не знал, на что решиться, что выбрать. И, чувствуя в себе неуёмную жажду деятельности, всю осень открывал новые и новые пастбища. Как и для всякого пастуха, наступало самое привольное время. Оно чувствовалось всюду и всеми. Особенно – скотиной, мирно пасущейся вдоль нескончаемого берега Оки, в дубовой роще, по сжатым нивам. Воспоминания о летних полднях, пропитанных запахом пота, отравленных укусами гнуса – особенно оттеняло это блаженство. Гусиные косяки, одиноко кружащие над болотами цапли, шумные стаи уток, холодные туманы по утрам, таинственные, как смерть, лучи вечернего солнца – всё тревожило душу чемоданным настроением. Всеми, казалось, был подведен итог: и юношеским переживаниям, и военному присутствию в горах Тюрингии, и старательству, и учёбе в Литинституте, – до того момента, когда с такой осязаемой надеждой вдруг замаячила впереди земля обетованная.

«Да поминаете день исхода вашего из земли Египетския, вся дни живота вашего».

Тот день мне особенно памятен. Внешне он ничем не отличался от других дней и начался такую же утренней свежестью, густым туманом – над прудом и селом, более редким – в дубовой роще.

Соединив гавриловское и ипяковское стада, вдоль Вьюновки, кормилице и забаве детства, где-то за Нагулиным впадавшей в Гниличку, а та – в Оку, по высохшим за лето гатям, ушел в заливные луга, окруженные трясинной болот, заросших стеной осоки и тростника.

Из потрепанной пастушеской сумки достал молитвослов, затем Библию, третий раз – и всегда по-новому – шестой сезон читаемую мною. В чуткой утренней тишине значительнее казались слова бессмертной Книги.

На кусты ивняка, осоку, палую листву маслянисто садился туман, приятной свежестью опахивал лицо, мелким бисером блеснул на выбившихся из-под берета волосах, бороде, холодил руки, увлажнял пожелтевшие листья Библии.

«Сын мой! если ты приступаешь служить Господу Богу, приготовь душу твою к искушению: управь сердце и будь твёрд, и не смущайся во время посещения; прилепись к Нему и не отступай, дабы возвеличиться напоследок. Всё, что ни приключится тебе, принимай охотно, и в превратностях твоего унижения будь долготерпелив, ибо золото испытывается в огне, а человек, угодный Богу, в горниле унижения».

Как это волновало меня!

Положив книгу на пенёк, стал ходить по излюбленному закутку, окруженному древними, как слова Сираха, дубами, по щёлкающим под ногами желудям, двадцать шагов туда и двадцать обратно – место отдыха на покосах.

«Для чего же не уклоняться? – спрашивал себя и сам же отвечал: – Чтобы не упасть. А веровать – чтобы не быть постыженным и оставленным. Страшно быть оставленным!»

«Горе сердцу расслабленному! Ибо оно не верует, и за то не будет защищено».

Вон оно что! Оказывается, причина неверия не от науки, не окружающая среда, не безбожный, развращённый мир, а расслабленное сердце!

«Много высоких и славных, но тайны открываются смиренным», – прочёл дальше и опять задумался. Как всегда хотелось узнать эти Божии тайны! Порою, казалось, вот-вот, сейчас, за Относским горизонтом или в тихом Елевом долу, за лесным поворотом, на тихой, залитой полуденным солнцем поляне, среди утренней тишины, во время «умного делания» или после чтения Апокалипсиса Господь откроет хотя бы одну из них... И что же? Лишь – ощущение таинственности, какой-то всё ускользающей близости, как в «Песне Песней»: «я встала, чтобы открыть возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушёл!» Так отходит всякий раз ощущение чего-то нездешнего, когда, отложив чтение, задумаешься. Блаженная тоска души! Совершенно иная, не та, что «по ту сторону добра и зла», как любил выражаться руководитель творческого семинара Владимир Ильич Амлинский. Или та, что замаячила в дни перестройки на историческом горизонте. Казалось, надвигалось что-то неотвратимое. Что именно – никто тогда толком не мог понять и объяснить. Крушение идей и всей жизни, пожалуй. Мышиная возня у кормушки власти и денег. Разделение мнений и понятий, «охота к перемене мест», телечудеса, НЛО, инопланетяне, ясновидящие и прозорливцы, лекари и шарлатаны, непрестанная пустая трескотня, волнение умов от вновь и вновь появлявшихся публикаций о лагерной жизни и «тайнах мадридского двора», экономические, экологические и всякие иные неотложные проблемы. Складывались и ломались судьбы, гибли в автокатастрофах сильные мира сего. Очерчивались контуры будущих направлений. Ничего ещё не было ясно выражено и хотя бы чуть-чуть оформлено, а уже всем хотелось только нового, только лучшего. Создавалось впечатление, что в устоявшееся болото стремительно вливалась мощная струя – и мутила. Муть эта подступала к берегам, и нельзя было угадать, во что всё это выльется. И, тем не менее, всем хотелось, чтобы непременно двинулось, непременно вылилось. И все вместе и порознь, кто как умел и понимал, спешили что-то и от кого-то спасти. Какое искушение! Какое испытание! А что делать мне? Продолжать сидеть в своём затворе? По-прежнему только читать и писать? Нельзя ли и мне найти во всём этом применение? Не настанет ли пора? Да, но в чём и как? Так робки ещё были попытки осознания этого нового. А что, если оно не «наше» и не «для нас»?

Туман прибило к земле, и в одно мгновение огромное пространство заливных лугов засебрилось до рези в глазах. Стадо сходилось на лежанку, удрученно вздыхая, укладывалось недалеко от закутка. Теперь можно было отдохнуть, но спать не хотелось, а хотелось читать и читать.

«Чрез меру трудного для тебя не ищи, и что свыше сил твоих не испытывай», – прочёл я.

И опять задумался. Как определить, как узнать меру? Столько было сделано ошибок на этом пути, сколько получено ран! И всё оттого, как уверяет Писание, «иже не управлены суть, как листья падают, спасение же во многом совете». Во многом, но не со многими.

«Что заповедано тебе, о том размышляй; ибо не нужно тебе, что сокрыто... Многих ввели в заблужденея их предположения».

И это верно. О чём думаем, тем и живём. Порою и день, и два проходят под каким-нибудь сильным впечатлением. А если бы – из Писания? Закрытая Книга! Во всяком случае, для большинства.

«Упорное сердце обременено скорбями». И сколько этого упорства! Хотя определен и его источник, вот: «Зерно злого семени посеяно в сердце Адама (а значит, в каждом из нас) изначально, и сколько нечестия породило оно доселе и будет рождать до тех пор, пока не настанет молотба. Что пользы, если нам обещано бессмертие, а мы, непотребные, осутились? Нам уготованы жилища здоровья и покоя, а мы жили плохо? Обещан рай, но мы не войдём в него, потому что истаскались по местам неплодным».

«По местам неплодным» – не о политике ли речь? А может – о способах и формах нашей жизни? Взять, к примеру, матушку Варвару, «батюшку» или то «Божье чадо». Да мало ли! Об одних думать не хочется, других забыть не могу.

2

Сидел, помнится, как-то на стане за Гавриловской школой. Незаметно подошла она, как тихий ангел, держа в натруженных руках посох да бидон земляники, присела рядышком перевести дух, глянула на раскрытую книгу, спросила:

– Библия?

Кивнул, внимательно глядявываясь в это ветхое создание. Особенно удивили по-детски ясные глаза.

– В Бога, стало быть, веруешь, – ласково заключила она и, глянув куда-то вдаль, улыбнулась. – Да-а, вера – всё. Сама, почитай, только верую и дышу. И всё-то мне от неё мило – небо, облачка, берёзки, сосёнки, каждый кустик. Выйду на речку полоскать – хорошо! По четыре часа, порой, кряду Писание читаю. Одна живу. Не оторвалась бы, да дела поделать надо... Спросят, не скучно одной? Да разве я одна? Мне с имя скучно. Кабы Божие слушать хотели. Говорить-то говорят без умолку, да всё не то. Только друг дружке сердца выстужают. Соборовал у нас на Крестопоклонной батюшка, так сказывал про Матушку, Царицу Небесную, у немцев (или как их там) трём девочкам на поле явилась и говорит: «Устала, быть, я за них молиться. Так им и передайте». Нам – то есть. Всю ночь после того плакала. И теперь, как вспомню, плакать хочется. Огорчаем шибко мы Заступницу нашу. Говорю – а им про это не интересно. Про Скльпировского какого-то всё трещат. На телевизор не налюбуются. Эка невидаль! Мне один старичок ещё в первую Германскую сказывал, что придёт время, сатана придумает такой ящик, перед которым соберёт весь мир, а рога на крышу поставит. И жалко их, и помочь ничем не могу. Только и остаётся, что молиться. За полночь, бывало, встану, да так до свету и промолюсь... Выйду на волю, гляну вокруг – и так мне всё любо! Облачка, солнышко наливаются, туман с реки в проулок заползает, петухи перекликаются, птицы небесные поют – хорошо! Нет, думаю, не устала Матушка за нас Бога молить и никогда не перестанет!

И глаза её засияли как у ребёнка. А сам я забыл, что я и где я. Так и хочется повторить вслед за апостолом – «в теле или вне тела». Нас словно что-то окружило, как бывало в детстве, в шалаше, когда внезапно создавался обособленный от всего прочего сказочный мир. Теперь мне кажется, что это и есть те прикосновения с вечностью или с живительным её дыханием, без чего тяжела жизнь, особенно к старости.

Взять хоть, к примеру, Бориса Павловича. Второй год он помогает мне по весне приваживать стадо. Сейчас у него горе: умер «в вине» единственный сын. И теперь всякий раз он поджидает меня по вечерам, чтобы отвести душу. За время совместного пастушества мы немного сроднились. Во всяком случае, я много знаю о нём из его красочных рассказов. Начинает он

их с присказки: «Не-эт, Володенька, Бог меня обидел, и я Ему не верю». И в подтверждение – история. Одна из тех, что не так давно вершила судьбами миллионов. Любил и пошутить. Бывало, спросит: «Не пора ли домой?» – «А не рано?» – «Смотря, – скаламбурит, – какая рана, а то и медведь не залижет». Но пошлости и скабрёзности не любил. Была в нём чисто русская благородная душа крестьянина. Можно бы сказать, христианина, если б он так категорично не настаивал, что «Бог его обидел, и он Ему не верит». Даже смерть сына не поколебала его убеждений, а только придавила.

– Ну, как же меня Бог не обидел, – в очередной раз жаловался он мне. – Кольки нет, теперь совсем один. А только на КамАЗ устроился. Утром бы в рейс, да сосед достал накануне: выпьем. И я с полстакана выпил. Что за отравка была – не знаю. Мне ничего, а он лёг на кровать да и захрипел. Я туда, сюда. Пока соображал да бегал, он и готов. А теперь ходит, стучит, спать не даёт. Жутко аж. Ты бы помолился, зашёл.

– Как это помолился, – удивился я, – ты же не веришь?

– Ты это, знаешь, Володенька, – забормотал он, отводя налитые слезами глаза, – оно, конечно, Бог меня обидел, а всё же я в жизнь в Ёво не ругался. Мы с тобой, как свои. И ты меня, старика, не обижай, помолись.

Что с ним было делать?

– Ладно, – говорю, – завтра крещенской воды привезу.

Успокоился.

Вот что я нашёл о нём в своём дневнике:

02.05.88 г.

Сегодня гоняли к Юрьевцу. До пятнадцати минут второго держали на берегу торфяной речушки, в которую прежде спускали отходы с химкомбината. До сих пор от воды идёт страшная вонь. Коровы подойдут, понюхают и отходят. Берёзки окидало нежной зеленью. Денёк то разгуливался, то накрапывало. По верху дамбы, идущей от конца села, вернее, от кладбища, до самого берега Оки, километров семь, тянул сильный холодный ветер. Видели зелёную ящерицу. Сидела, не пугаясь, и смотрела на меня одним глазом. Коровы всё же убежали из-за Лысёнки...

В обед Борис Павлович, сидя на бетонной плите дамбы, сказал: «Пожевать бы чего». Открыл сумку, достал батон, оставшийся от завтрака, который нам давали поутру хозяйки, покачал головой и стал сетовать на себя: «И говорю, есть нечего! А ведь когда-то, что мне этот батон? Чуть-чуть! А теперь не хочется. Вот ведь до чего дожил!»

Понемногу разоткровенничался, стал рассказывать, как жил в плену. Служил срочную в Литве. «Когда война началась, командование нас бросило. Плутал по Польше. Встретил в лесу поляка. Сенокосничал. Постояли, поглядели друг на дружку. Гляжу, рукой машет: жди, мол. Куда ушёл, не знаю, да мне всё одно уж стало – хоть какой конец. Присел и заснул. Будит. Гляжу, одёжку принёс, еду. Переоделся. Форму закопал. С неделю прятал он меня в сене, кормил. А тут как-то приехал сам не свой, оглядывается, говорит: «Пане идут, ходить надо». Ушёл, шатался, пока в плен не взяли. Порассказать, так... Потом, правда, в работники попал, за скотиной ходил. Отошёл маленько, поправился. А то ведь с меня текло. Всякие люди и среди немцев были. И у нас гадов хватает. Было: свои своих... Почтище немца...»

09.05.88 г.

Пасём всё до двух... Уже распускаются листья на дубах. На берёзах листва такая яркая, что больно смотреть. Травы ещё мало. Сегодня День Победы. Борис Павлович приложился слегка, и в обед опять стал рассказывать про плен, о том, как жил у немки в работниках и как ему на ужин не давали обедешный суп, чтобы не испортил желудок.

– Сыр, масло с хлебом, чай – пожалуйста. А мяса нет. «Плѣхо, – передразнил он хозяйку, – ты спайт, желудка не работать». И всё свиньям выливали. А, помню, была у нас в колхозе татарка Сафара, трактористкой работала – уж после войны дело было, – дали ей на трудодни ведро баранины, она притащила хозяйке: «Манья, на баранин. Нас Бог не велит такой мяса есть: када убивал, нага ни вязал. Нельзя». И не ела. Хозяйка даст ей ведро мочѣных яблок, та и рада».

«Удивительное дело, – подумал я. – Трактористкой сделали, колхозницей тоже, поди, и комсомолкой была, а баранину не ест».

И тут мне припоминается Пасха, как мы ходили собирать яйца, Христа славили это в безбожном селении. И не было ни одного дома, где бы нам чего-нибудь в тот день не дали. Не исключая и парторга, и комсорга, и профорга...

– Вот ведь что жизнь-то была, – прерывает мои мысли Борис Павлович. – Не-эт, Володенька, Бог меня обидел, и я Ему не верю.

– Заладил своё, Фома! Знаешь пословицу: не ищи в селе, а ищи в себе?

– Нет, ты погоди, ты послушай сперва, что я тебе скажу. Как же меня Бог не обидел, когда я всю жизнь, сызмальства хуже последнего нищего, концы с концами свести не мог. С плена на стройку угнали вину перед Родиной искупать. Домой воротился, считай, круглый сирота: тятя до войны в лагерях сгинул, мать в войну тифом скосило. Хозяйку-покойницу взял, считай что в одних трусах. Порассказать, так... Помню, сенокосничали раз, так умотались, ни я, ни она косы нести не смогли, так в кустах и бросили. Домой притащились, есть нечего. Сама морковки надергала, ополоснула в кадке – вся еда! Я в плену лучше жил! – возмущѣнно тряхнул он головой. – А тут ещё налогами обложили. Сорок килограмм мяса, шерсти, яиц, масла, картошки да семьсот десять рублей – всё им дай! Зажили мы тут, было, при Булганине, да нанесло Хруща. И мясо пропало. Или двух овец, или одну свинью держи. Это что, справедливо? А того не понимают, будь у меня лишняя овца, куда я её понесу? На рынок. Эх, что измывались над людьми-то! Свои! Вот и суди, как же меня Бог не обидел? Нет, ты погоди, – останавливал опять меня. – Ты послушай сперва. Лошадей я в колхозе пас, так раз татары жеребѣнка-трѣхлетка украли. На собрании свои: тыщу рублей пусть платит! Хорошо, счетовод выручил. Во мужик был! Пока матом не выругается, не может начать говорить... «И-и... И-и... Так вашу перетак...» И пошѣл: «Мы, – говорит, – с его тыщу возмѣм, а завтра татарину за три сотни отдадим? Моѣ предложение – взять инвентарную стоимость». Тоже, значит, триста. Проголосовали. А то бы... Вот ведь что жизнь-то, Володенька, была. Как послабили малость, так я дом поскорее продал и сюда, к городу поближе. Пусть они там экспериментируют. Теперь, сказывали, ни колхоза, ни села. Всё развалили.

И подобные истории почти каждый день весь месяц нашей совместной работы. И сколько не возражал я ему, при чём тут Бог, он удивлѣнно восклицал: «Как?!» – и начинал другую историю. Ни Богу он не молился, ни в церковь не ходил, и хотя, как уверял, был Им разобижен, весь годовой круг жизни, тем не менее, определял церковными праздниками. Картошку сажал после Троицы, чтоб зря в земле не зябла. После Петрова дня сенокосничал. В Духов день не работал, на Страстной в рот вина не брал, на Пасху христосовался с каждым встречным, а по воскресеньям запрещал хозяйке стирать и вывешивать бельѣ. «Что ты! – отвечал на мой удивлѣнный вопрос. – Острамят на всё село!» Никакие мои доводы не побудили его уступить ни пяди. «Вы, – говорю, – такие упрямые, потому и Сталина пересидели». Улыбается, хотя к Сталину у него отношение особое – горбовое молчание.

3

В то лето произошло ещё одно памятное событие.

Среди сезона, совершенно неожиданно, жену на «скорой» отправил ночью в больницу с сильным токсикозом. Родителей моих не было рядом, и дети целую неделю жили одни в двухкомнатной квартире под присмотром старшенькой, восьмилетней Саши.

Не без волнения каждое утро проносил я через тихую комнату велосипед с балкона. Будил Сашу, чтоб закрылась. И всю дорогу, и всё время пастьбы мысли мои были дома: «Как там они?»

Домой возвращался с тою же тревогой в сердце. В пятый день решил проведать детей в обед: скотина обычно лежала на стане часа по четыре. Бывало, снималась и раньше, но я надеялся на русский авось, и после дойки поспешил к дому.

Однако на подъезде словно что стукнуло в сердце – все окна квартиры были настежь!

Влетаю на второй этаж пятиэтажки, дверь нараспашку. Вхожу – и Боже ж ты мой! – кого тут только нет! И откуда только понабежали эти подружки! Шум, гам, заедающая пластинка, шесть ручонков азартно ботают по клавишам фортепьяно. Младшенькая Даша, в одной распашонке, в собственной лужице спит на полу. Тюль парусит и взвивается к потолку от сквозняка, вызывая общий восторг.

Все замерли сразу – так, видимо, грозен был мой вид. Подружки быстренько потекли в дверь, а я не знал, за что в первую очередь взяться – за ремень или затворить окна.

Подойдя к Даше, услышал хрип. Ребёнок задыхался и весь горел. Поднял её, отнёс в кровать, поставил градусник. Затем закрыл окна, попутно выговаривая старшей. Но от страха она лишилась способности соображать и, вытаращив глаза и поджав губы, смотрела исподлобья неподвижным взглядом. Маленькое существо беспомощно хрипело в кровати. Градусник показал тридцать девять и две. Я был в отчаянии.

– Как тебе не стыдно, Саша! Как тебе не совестно! Я так на тебя надеялся, а ты! Ведь Даша может умереть!

Варя, Никита, Маша сгрудились у кровати, ткнув головки меж палочек. При моих словах они все разом посмотрели на меня и трёхлетний Никита, безмятежно глянув, спросил:

– Папенька, а она в рай попадет?

Меня взорвало.

– Что?! Я вам сейчас покажу рай! – и я заходил по комнате в поисках ремня. – В рай! Она-то попадёт! А вы куда попадёте? Вы, убийцы! Что вы ответите Богу, когда спросит?

– А мы... мы её не били... мы не убивали, папенька... она сама... – залепетали испуганные голоса.

– Как же не убивали, когда почти что убили таким отношением! Открыли все окна, а ребёнка, чтобы не возиться с ползунками, бросили на пол, почти на бетон, на этот линолеум, это же всё равно, что убили!

Ремень не находился, я начал остывать. К тому же тревога за судьбу дочери, не на шутку испуганные лица детей – всё как-то разом придавило беспомощностью.

– Эх, Саша, я так на тебя надеялся, а ты!.. – выговорил я с горечью, едва сдерживая слёзы. Глянул на часы, пора было ехать: не дай Бог ещё забредут на совхозный клевер. – Я думал, ты большая, понимаешь... А вы! Вы же в Бога верите, в церковь ходите! Как же вы так?.. А что с маменькой будет, когда узнает? Не жаль вам её? А мне каково? С чем я уеду? Что у вас тут опять будет?

Слёзы выступили на моих глазах. Саша заметила.

– Папенька, мы больше не будем окна открывать...

Я задумался.

– Вот что, – наконец, решил, – идите сюда.

Отпер ключом кабинет, маленькую клетушку, в которой помещался слева от окна во всю стену диван, напротив, через метр, письменный стол, рядом стеклянный, но уже без стёкол шкаф с книгами. Такой же шкаф, только другого цвета, стоял слева от двери на тумбочке,

дверцы которой, когда открывались, почти касались спинки дивана. На шкафу – иконы, лампадка. Самая большая и древняя икона – Рождество Пресвятой Богородицы, в медном, позеленевшем окладе (память от Новской идиллии, о чём речь впереди), ещё несколько обычных бумажных иконок, и главная святыня, хранительница семьи и в родах помощница – Фёдоровская.

– Становитесь рядом со мной на колени. Матушка, Царица Небесная, ты видишь, какое у нас горе, а у меня вдвойне – от непослушных детей. Кого нам просить, как ни Тебя? Ты наша Помощница, наша Заступница. Помогите. И детки обещают вести себя хорошо. Обещаете?

– Да-а... Мы больше не будем, папенька...

– Смотрите. Божией Матери обещание дали. Кланяемся.

И мы поклонились до земли. Затем я достал икону, и все по очереди приложились. Пристали, притихли, даже лица переменились.

И всё же я уехал с тяжестью на сердце. Беспокоила больная дочь. Хотя и протёр тельце разбавленным спиртом и попытался влить «летической смеси», ребёнок только вырвало. А вместо плача – хрип.

На стане же всё было благополучно. Коровы спокойно лежали меж высоких сосен, жуя сено, обмахивая ушами от глаз мух. Пронзительно стрекотали кузнечики, купались в дорожной пыли воробьи. Всё было так да не так. Ни сидеть, ни стоять, ни тем более читать я не мог, а всё ходил и ходил, подавленный своими переживаниями. Больной ребёнок, непослушные дети, жена в больнице. Надо быть дома и не могу. До вечера ещё ой сколько! И всё это время жить с этакой мукою на сердце? А эти лежат и жуют. И никому нет до меня дела. Меня разбирала досада.

Наконец, не выдержал, стал подымать стадо прежде времени. Кныжась и удручённо вздыхая, послушно-лениво, безропотно стали подыматься, потягиваться, иные пускать светлые струи, «минировать» лежанку. Ничто, казалось, не могло выбить их из привычного ритма жизни. Послушание их немного усовестило, подавив досаду. «Они тут при чем?»

В лесу, через который лениво брело стадо к месту выгона, взмолился. Но что это была за молитва! Никогда прежде да и потом я так не молился! Так бестолково-неистово! Всё моё тягостное чувство безысходности вылилось в этих бессвязных словах. Я не просил, я требовал чуда. И даже грозил тем, что непременно возропщу, если не получу просимого. Не знаю, сколько времени молился таким образом, заливаясь слезами, ничего не видя и не слыша, только в какой-то миг глубокая тишина и отрада вдруг сошли в моё сердце. Ад души, подавленной горем и страданием, бесследно исчез. А мир вокруг преобразился, как бывало на Новских выселках, на закате, когда под вечер, выйдя из баньки, на мгновение застывал в чуткой предсумеречной тишине вишнёвого сада, охваченного пожаром заходящего за далёкий горизонт неправдоподобно огромного солнца.

Так хорошо мне стало, так благостно! И главное – какая-то внутренняя уверенность, что услышан. Молитва как началась, так и закончилась сама, и никакие потуги возобновить её не имели успеха. Не о чём было больше просить? Господь дал всё сразу. Лишь чувство благодарности переполняло душу. И мир этот, казалось, изливался на всё: на молоденькую дубовую рощу, на просеку ЛЭП, с вечно потрескивающими проводами, на небо, зелень и стадо, улегшееся под насыпью высохшего отстойника.

Чувство это сохранялось до вечера, и ещё долго потом я жил воспоминанием о нём. Правда, на подъезде к дому заскочило как бы со стороны: «Приедешь, а там...»

Но что же ожидало – там?

Ещё издали увидел я на балконе жену. Спокойно и аккуратно, привычными чёткими движениями развешивала она ползунки и пелёнки.

«Неужто выздоровела?»

Оказалось, сегодня её перевели из роддома с сердечным приступом в другую больницу: переволновалась от предложения врача прервать беременность, а после успокоительного укола ещё больше расстроилась, думая, что её хотят усыпить и против воли сделать аборт. Зайдёт же такое в голову! Всё, в общем, произошло сегодня, в пятницу, а после обеда её отпустили на выходные домой. Но это ещё не всё. Представьте моё удивление, когда не только никаких хрипов и температуры, даже признаков недавней болезни у Даши не было! Совершенно здоровое, весёлое дитя сидело в кровати, а Галя не хотела верить моему рассказу и уверению детей, что буквально в обед ребёнок был при смерти.

– Папенька, она хрипела-хрипела, – трещала Саша, – и перестала. Я думала, она умерла, испугалась, сначала не шла, а потом пошла, а она спит и вся вспотела. Я её передела. Маменька, правда. Мы сказки читали, а она «э-э» говорит. Правда...

– Ну-у?! Ну-у?! – то ли удивляясь, то ли не веря, приговаривала с улыбкой жена.

А мы наперебой уверяли её. И на сердце у меня было радостно, как на Пасху.

4

И сегодня я пребывал в предчувствии благодатного посещения. И, не понимая причины, то читал, то ходил, размышляя о прочитанном.

«Сын мой! От юности твоей предайся учению, и до седин твоих найдёшь премудрость... Она соответствует имени своему, и немногим открывается... Подставь ей плечо и носи, не тяготясь её узами... Ибо наконец ты найдёшь в ней успокоение, и она обратится в радость тебе!»

– А как у Пушкина?

*О, милый сын, тыходишь в те лета,
Когда нам кровь волнуется женский лик.
Храни, храни святую чистоту
Невинности и гордую стыдливость:
Кто чувствами в порочных наслажденьях
В молодые дни привыкнул утопать,
Тот, возмужав, угрюм и кровожаден,
И ум его безвременно темнеет.*

Это речь отца! А что мы слышали от своих? Говорили, правда: «Не будешь учиться, будешь всю жизнь на колхозном дворе коровам хвосты крутить». Но разве нас воспитывали? Написано же: «Если увидишь разумного, ходи к нему с раннего утра, и пусть нога твоя истирает пороги дверей его». Что было бы с нами, кабы не обивали пороги этих Божьих людей? Немного их было на пути. Сначала игумен Константин, потом архимандрит О., матушка Варвара из заброшенных келий московского Рождественского монастыря, с которой познакомился через своих московских друзей Щукиных в позапрошлом году, да мало ли...

«Отдающийся блудницам – губит своё наследство», – прочёл дальше.

От кого и когда мы слышали это? Или: «Царь ненаученный погубит народ свой». А тут: «В руке Господа власть над землею, и человека потребного Он вовремя воздвигнет на ней». В какой школе, в каком институте можно было такое услышать? А это? «Владычество переходит от народа к народу по причине несправедливости, обид и любостыжания. Господь вырывает с корнем народы и насаждает вместо них смиренных». Сколько в своё время было насмешек над словами Достоевского: «Смирись, гордый человек». Не понимали – и метали бомбы. А чего достигли, что создали? Погубили и продолжаем губить наследство. Сказано: человек познаётся в детях своих, и что говорим: «Теперь какая молодежь-то пошла!» То есть, какая же? И откуда

пошла? Не из тех ли она ворот, что и весь народ? «Глаза глупца – на краю земли», – говорит Библия. Но сколько выращено этих глупцов! А кабы знали, что «лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых», разве бы так жили, тому учили? Да-а, скажут, попробуй, поучи. Время-то, время-то какое было! Это с оглядкой на «всех», на большинство. Но «все» ли так жили? Откуда же, эти Божии люди? Не в штольнях же и шахтах отсиживались они. Но кто видел и видит их теперь? Нет, надо сказать прямо: боимся – и губим наследство. Не зря же сказано, что «лучше скудный знанием, но богобоязненный, нежели богатый знанием – и престапующий закон»? А мы как рассуждаем? Да, мол, но с высшим образованием и пасти коров... как-то... Не по-царски, что ли? А Давид разве не царь был?

И так всё ходил, споря с «премудростью века сего», хотя и знал, что она всего лишь «мерзость пред Богом».

5

С обеда всё затянуло серой мглой, воздух насытился влагой. Накинул офицерскую плащ-палатку, с разрезами вместо рукавов.

Перевалив в дальнем конце заливных лугов по специальному проезду через дамбу, по шуршащей палой листве осинника вышли к островкам с подростом отавой. К концу полуострова сходились клином, отсечённые водой от дамбы. Обычно пушу стадо на такой полуостров, метров триста – четыреста длиной, и сижу с книгой, дожидаясь пока нагуляются.

Так и в тот день. Пустил, раскрыл книгу – и про всё забыл. Когда очнулся, стояла такая тишина, что даже слышно было падающую листву.

Я насторожился. Неужто опять легли? Побежал посмотреть. Каково же было моё удивление, когда ни одной живой души не встретил до самого перелива. Ушли! Через воду! Господи, помилуй! Беда-то ещё!

Торопливо перебрался по двум хлюпающим по воде осиновым жердям и, поминутно цепляясь плащом за кусты шиповника, побежал к дамбе. Пробираясь через смешанный молодняк и кустарник, поднялся по бетонным плитам наверх и почти в самом конце, километра за два, за три, увидел хвост стада, торопливо уползавшего в лес.

Первая мысль была бежать следом, да решил, всё одно не догнать, и для верности решил пройти тою же дорогой ещё раз: может, свернула какая.

Вернувшись назад по дамбе метров за двести, сбегал вниз по крутому съезду из плит и быстро зашагал по уезженной, усыпанной золотом листвы дороге. Метрах в ста, справа, в осиннике заметил «Жигули» белого цвета и три фигуры. Быстро глянул: женщина с распущенными волосами стояла ко мне спиной у открытого багажника машины, один мужик усердно копал короткой лопатой, другой курил, глядя в мою сторону. Заметив меня, быстро отвернулся и что-то сказал напарнику. Тот тоже глянул в мою сторону, бросил лопату. Они переглянулись.

Сердце моё дрогнуло. Я надал шаг, но уже не по дороге, а через поляну, к болоту, которым завершался осинник. Уже в конце поляны, у самого леска, послышался сзади негромкий свист и следом за ним выстрел. Он, казалось, оглушил меня. Слева упала срезанная пулей ветка, сзади зашуршали торопливые шаги. Я быстро свернул вправо и в несколько прыжков оказался в густой осоке. За плотным кустом ивы присел, притаился. Шаги быстро приближались, и вскоре мне хорошо стало видно этого коротко стриженного, узколобого дегенерата: в то мгновение он мало напоминал человека. Он постоял, послушал, поводит рылом туда-сюда. На короткий свист обернулся, сунул пистолет за пояс и поспешил к машине. Сердце так сильно стучало, что, казалось, я его слышал! Мысль работала лихорадочно. Явно я им помешал. И чего они тут собирались закапывать? И тотчас вспомнил разговоры, как недавно милиция обнаружила склад с оружием где-то на окраине города или банду какую-то раскрыли, точно не помню.

Времена тогда были всем известные: блатняк делил сферы влияния, иные разборки заканчивались перестрелкой.

«Господи, помоги! Господи, сохрани!»

Ни на секунду не прекращая молитву, выбрался на берег и побежал поглядеть выгон: не дай Бог, ещё корову пристрелят, если им в человека нет ничто пальнуть. Дорога к выгону шла сенокосными полянами, пересеченными неширокими полосками леса. Миновать их было нельзя. Когда выбегал на поляну, мерещилось, вот-вот выскочит из перелеска машина, пока не понял, гнаться не будут, и, дойдя до перехода, немного передохнул. Слава Богу, скотина вся вышла.

Перебравшись по жердочкам, на подходе к дамбе, услышал шум буксующей машины: въезд на дамбу был очень крутой, в сырую погоду подняться на него было непросто.

«Вот и сидите!» – позлорадствовал я. И хотел бежать своей дорогой, да разобрало любопытство, прямо какой-то разведческий интерес: «Надо записать номер. Мало ли что».

Подкравшись поближе, залёг в кусты шиповника, через которые хорошо был виден подъём. Достал из сумки клочок бумаги, ручку и записал номер машины. Затем отполз. Отойдя метров триста сквозь заросли ивняка, перебрался на другую сторону дамбы. Там были коровьи тропинки вдоль торфяной канавы. Давно я так не бегал! Под капюшоном стало, как в парной, и я скинул его.

Уже в селе из предусмотрительности снял плащ и оставил у хозяйки. На велосипеде поехал поглядеть стадо. Так и есть – в полном составе оно паслось на сжатом совхозном поле, издали походившем на озимь, столько терялось зерна при уборке.

Несколько хозяек стояли у забора крайнего дома. Рассказал им о происшествии.

– Может, в милицию сообщить? – неуверенно сказала одна и ушла.

Я выехал на дорогу и возле дома Бориса Павловича вдруг увидел того самого дегенерата. Стоял ко мне спиной и разговаривал с шофёром грузовика. На меня глянул бегло, явно не узнав. Шофёр дал согласие, и они уехали.

Поскольку стадо ещё паслось, ехать домой было нельзя, и я решил выждать положенное время в проулке. Отсюда хорошо было видно и стадо, и отрезок дороги. Примерно через полчаса по ней прокатилась знакомая машина. Я вышел на поле, откуда хорошо было видно дамбу, соединявшую Гавриловку с Ипяковым. Дальше дорога сворачивала вправо и вдоль Вьюновки тянулась к Нагулину, а там на окраину Нижнего, в район аэропорта.

Машина промелькнула по дамбе. Уходя вправо, как я и предполагал, в сторону города, вдруг неожиданно развернулась на возвышении и стала на обочине.

«Ждут, когда стадо погоню», – догадался я.

На сердце заскребли кошки... Не скажу, что сильно испугался (и не в таких переделках приходилось бывать в старателях), больше волновала судьба семьи. И чем дольше думал об этом, тем тягостнее становилось на душе. Наконец, опомнился, стал молиться.

6

После молитвы стало немного спокойнее. Однако враг несколько раз подступал со своим рационалистическим: «Так-то оно так, а в жизни – хлоп, и нету». Но я гнал эти помыслы, призывая на помощь Царицу Небесную: «Враже, предложение твое – на главу твою. Божия Мать, помоги мне!» И читал «Богородцу».

Стемнело быстрее обыкновенного. Небо опустилось на потемневшие крыши домов. Воздух насытился влагою. Вода в пруду почернела. Скотину потянуло к хлеву.

Дождавшись, когда последняя корова подыметесь в ипяковский проулок, на велосипеде выехал на дамбу.

Машина стояла на прежнем месте. И я специально свернул в её сторону и, не торопясь, проехал мимо. За темнотою стёкол едва угадывались силуэты людей.

За Ипяковым свернул на зады и помчался укатанной полевой дорогой к сереющим в сумерках пятиэтажкам своего родного совхоза «Доскина». Кое-где, как маячки, уже светились окна.

И мне ужасно захотелось домой, в тепло, уют, в атмосферу любви и простых семейных радостей – такими бесценными показались они мне теперь!

На другой день узнал от хозяйки, которая пошла звонить в милицию, что машина стояла дотемна. Милиция приехала лишь к обеду, прямо в дубовую рощу. На прежнее раздолье что-то не потянуло. Подкатили на «уазике», опросили, записали. На меня поглядывали с нескрываемым любопытством, точно пытались загадку разгадать. Я к этому привык: сколько пасу, никто не верит, что это моя профессия, а как с первого сезона пошло, так и до сих пор – семинарист. Так же, помнится, подкатил раз к нашему низенькому домику на Новских выселках милицейский «уазик». «Предъявите документы». Посмотрели, повертели – и уехали ни с чем: не тунядцы же – коров пасём.

Эти, правда, документы не спрашивали. Свозили к знакомому месту происшествия, поглазели на начатую яму, ещё раз попросили показать, как и что происходило, переговорили меж собой и, объявив, что этот конец дамбы не их район, завезли меня к стаду, которое остался караулить приехавший с ними Борис Павлович (без него бы не нашли), и уехали.

В селе посудачили, порядили и успокоились.

А я в ожидании неминуемых перемен жил как на иголках, и стоически тянул до первого снега.

Он выпал в знаменательный день Покрова.

К вечеру потянуло по верху сосен северным ветром, замутило, завертело и в несколько минут буквально потопило в снежной замяти. Коровы остановились, как под проливным дождём, свесив уши, склонив морды к самой земле.

А мне было радостно!

В село стадо входило по снегу. Вокруг было белым-бело. Прощай привольная жизнь до следующей весны!

Поднявшись на ипяковский бугор, остановился, сошёл с велосипеда и оглянулся. Снежная туча неслась очень низко, очень стремительно. Выше виднелось совершенно чистое небо. Кое-где пробивавшееся сквозь метель солнце ярко высвечивало белые крыши домов, повисшие на лапах сосен за гавриловской школой клочья снега, слегка опущенные, сильно почерневшие вдруг ветви яблонь и вишен в садах. Правее, на фоне окинутых лебяжьим пухом полей синела дымчатая полоска леса с курившимися отравой трубами дзержинского химкомбината. Дубовая роща, сосновые прогоны, кабаньи и лосиные уголья берёзовых перелесков – всё казалось другим, помолодевшим, очищенным. Влево тянулась к Оке дамба. Метель уходила к Нагулину. На чистом небе отчетливо выделялся глинистый, постоянно оползавший высокий берег Оки, чёрные, по-спортивному раскинувшие лапы вышки ЛЭП, с провисшими нитями проводов, заливные луга, закуток, окаймлённый стаей корявых дубов – одно из тех мест, где и небо было ближе, и многое виделось совершенно иначе.

Благостно-тоскливо защемило сердце. Странно, последнее время с нетерпением ждал этого момента, считая, можно сказать, минуты, а теперь не хотелось уезжать – будто что отрывал от сердца. Так же, наверное, смотрят на пройденный путь альпинисты. Что ждало впереди, не знал, но предчувствовал: лучшей жизни уже не будет, как не бывает другого детства, второй юности. Я знал из «святых отцов», что человеку дан от Бога дар творчества для того, чтобы, прежде всего, творить собственную судьбу, то есть жизнь. И дорога она была мне именно поэтому. Не будь её так трудно, так скорбно и так радостно выжитой, чего бы и жалеть?

Теперь же каждый кустик, каждое деревце, каждый закуток напоминали о пережитом, вымоленном, воспетом!

Дома меня ждало письмо из редакции журнала «Москва»: известие о принятии к публикации повести «Малая церковь» и просьба зайти, когда буду в столице.

«Вот и перемены», – решил я.

И стал собираться в дорогу. Встречи с Москвой никогда не проходили напрасно. Многообещающей представлялась и эта поездка.

Я уезжал ночным поездом.

Глава вторая

1

В купе (позволил себе такую роскошь в связи с окончанием сезона) попутчицы попались тихие – две старушки-родственницы, ехавшие на какое-то семейное торжество. Они вскоре улеглись. Вторая верхняя полка так и осталась пустой.

После Сеймы, поезд шёл, мерно покачиваясь и постукивая на стыках, без остановок до Владимира. Иногда с шумом и свистом проносились встречные поезда, на полустанках и переездах купе озарялось фиолетовым светом и всё опять погружалось во тьму, однако почти не замечаемую и не ощущаемую мною.

Шёл, должно быть, первый час ночи, а я всё ворочался с боку на бок. Несколько раз усилием воли отгонял все думы прочь, стараясь войти под покров Иисусовой молитвы. Методично-медленно творил её какое-то время, потом одним умом, затем устами и, не знаю, как получалось, вдруг опять заставлял себя в плену воображения, увлекательных бесед и размышлений. Много чего было передумано за сезон и теперь облекалось в убедительные, сильные выражения и фразы, абзацы, зарисовки и даже будущие главы. Думал и о том, что впереди. И как было не думать? После длинной, как правило, обычной для начинающего автора полосы отказов и неудач с журнальными публикациями эта осень была неправдоподобно щедра ко мне. Накануне ответа из столичного журнала пришло длинное неофициальное письмо от завотделом прозы саратовской «Волги». Заведующий сетовал на то, что так и не смог пробить через редколлегию публикацию другой моей повести, которую считал намного лучше того, что печаталось тогда на страницах журнала, давал лестную оценку, было сказано несколько добрых слов в поддержку. Я был благодарен ему. И хотя в подражание третьему, после Щёкина, неугомному «русскому мальчику» Данчуку прежде кичился пушкинским: «Ты сам свой высший суд,/ Всех лучше оценить сумеешь ты свой труд», – был счастлив. Я выучил письмо наизусть и, наконец, положил на хранение, как драгоценность. Ещё бы! Увенчивался долгий и кропотливый труд. Отпадали болезненные попреки близких людей, что будто бы только зря убиваю время. Я был на коне и чувствовал себя так же уверенно, как верхом на Ивушке, когда после семикилометровой скачки от Ямных Березников, где когда-то пас коров, подъезжал к нашим Новским выселкам, и Галя, Оля Данчук, Таня Щукина, с тремя маленькими девочками – Сашей, Леной и кудрявой, как одуванчик, Лизанькой – встречали меня на сказочно зелёной лужайке перед неказистым, как у Бабы Яги, домиком. Вечные ползунки с пелёнками и колготками мотались на протянутых от угла дома к единственной старой берёзе верёвках. Радости детворы не было предела, всем хотелось посидеть в седле, покормить из своих рук Ивушку. Данчук с Щукиным ещё допасывали новское стадо у оврага. Их хорошо было видно отсюда: длинного и худого и среднего роста, вечно кудрявого, в очках. Иногда я подъезжал к ним погарцевать, подражая в посадке Григорию Мелехову с картинки из «Тихого Дона», а потом помогал справиться стадо в село. Воистину счастливое было время!

Но тогда, в поезде, я думал всё-таки не о нём. В ту осень я получил приглашение заглянуть при случае и от московского издательства «Художественная литература». Словом, было о чём думать, чем волноваться. Что и говорить, открывалась серьёзная перспектива. И это понятно тем, кто жил и работал в то время: мне не было ещё и тридцати пяти, а уже намечалась первая публикация в столичном журнале. Теперь я не жалел даже о не состоявшемся на первом курсе Литинститута дебюте очерка о старателях в журнале «Юность». Что очерк? Без всякого сожаления была похерена целая повесть, с которой поступал в Литинститут, которую выхаживал года два и на которую возлагал большие надежды. Всё это было, как мне казалось, в жизни другой, перечёркнутой, проклятой и забытой. По крайней мере, года два или три под придавившем меня «камнем» (выражение из Апокалипсиса) я не мог и не хотел ничего писать. Особенно после упрёка того же Данчука: «Да как ты можешь писать, не прочтя прежде Библии?» И впрямь, как можно писать, не зная главного? С Данчуком ещё можно было поспорить, но слова преподобного Серафима Саровского просто пленили: «Кто, радость моя, всю Библию от начала до конца прочтёт, тому Богородица пошлёт умные очи сердца!» Как таинственно! Как мистически обворожительно! Умные очи сердца! Какая-то высокая поэзия или дар, позволявший проникать в сокровенные тайники души, в нечто прикровенное в мироздании. Тогда же, выпросив у знакомого очень редкое в то время дореволюционное, в кожаном переплёте, специальное компактное издание Библии на русском языке, я всё лето пастушества в Ямных Березниках, а затем в Новом только её одну и читал. Читал и, прямо скажу, удивлялся богатству премудрости воистину бессмертной Книги. Множество выписок было сделано тогда не только из книги Сираха, но из книги Премудрости Соломона, из пророческих книг, одна из которых чем-то даже созвучна по образности с пушкинским Лукоморьем. Библия повела за собой цепочку её толкователей, молитвенников, учителей и чудотворцев. Это был тот космос, который можно увидеть только умными очами сердца. До чего же он был реален! Как верно заметил кто-то: «Что есть настоящая жизнь? Мнится быти – а несть. А что есть жизнь будущая? Мнится не быти – а есть».

Тогда же и зародились первые строки того, что, ещё недавно обреченное, теперь пробивало себе дорогу, как, пожалуй, и всё то «новое» или «забытое старое», что связывалось с веянием недавно начавшихся перемен, с так называемой «перестройкой».

«Может, и впрямь настает пора!» – увлеченно думал я, совершенно забыв про сон.

И всё рисовал идиллические картины будущего, о чём не раз мечтали мы с Данчуком по дороге в Дубраву, в Румянцево, в Симбелеи, в Относ, в Ямные Березники, в поисках свободного стада. Хорошо бы, мечтали мы, издавать свой журнал, в котором намеревались воскресить забытые имена, с которыми было связано представление о Родине навсегда ушедшей, разграбленной, разрушенной и опозоренной.

«Нет, не случайным был тот выстрел!» – опять и опять думал я.

И был совершенно уверен, что никоим образом убитым быть не мог. Таким это казалось нелепым, а мой тогдашний страх – глупым. Столько всего ожидало впереди – и вдруг умереть?

2

Как радовался Бог красоте сотворённого мира, так, наверное, радуется и дитя всему, что предстаёт его пробуждающемуся сознанию. Не ведаёт ещё оно сокрытого в нём зла. И долго, очень долго дитя не хочет знать и даже слышать никаких предупреждений об опасности. Продолжается это до тех пор, пока не вкусит оно «адамова изгнания».

А до изгнания? До него?

Память сохранила лишь некоторые отрывочные эпизоды первых проявлений промысла Божия в моей детской жизни.

Что помню?

Вот я совсем маленький мальчик, ещё не умеющий плавать, в деревне Казыевка, а по-деревенски «Козэвка», в жаркий летний полдень, когда осока клонится к воде, заляпанной лаптями кубышек, на которых порой безмятежно дремлют жабы. Дедушка Миша, «работавший», по словам бабушки Марфы, «при царе пулемётчиком», перекидывает жердь, чтоб, ухватившись за неё, мы могли бы плыть, отчаянно бултыхая ногами. Тогда, в том полуденном жаре, в той взбухавшей тиной воде, я зачем-то отцепился от шеста и, конечно, сразу пошёл ко дну. Что со мною было дальше, не помню. Очнулся на берегу. Надо мною прекрасное, без единого облачка небо, стрёкот кузнечиков, так хорошо, а какая-то незнакомая тётя облегченно вздыхает и говорит непонятно кому: «Слава Богу, ожил». «Пострел такой, перепугал до смерти!» – слышится голос дедушки. И я оглядываюсь по сторонам в поисках этого «пострела». Всё никак не соображу, что «пострел» этот я.

Нечто подобное было и потом.

Я в родном, как у нас выражались, «совхозе» («Где живёшь?» – «В совхозе»). Впервые решаюсь перейти залив Гидры, как называли у рукав, отходивший от огромного пруда к шлюзам. И тоже, как оказалось потом, чуть не утонул. Об этом рассказывал другой мой спаситель, двоюродный брат Валера Мухаров.

Тогда, в детстве, я абсолютно ничегошеньки, ну никакого страха не испытал. И до сих пор вспоминаю, как не со мною бывшее. Точно всё это было в мире ином, где я когда-то хоть и жил, но как будто бесплотно, а потому безопасно, как прародители в раю. И хотя не раз говорил себе, что мог же утонуть, как, например, Петров или Сидоров. Но не утонул же. Да и те были просто пьяны, а пьяницам вроде бы туда и дорога. Во всяком случае, никогда не мог соотнести одно с другим, хотя и понимал, что спасал меня в прямом смысле не ангел-хранитель, а обыкновенный человек, следивший за мною с берега.

Что помню ещё?

Страх. Страх смерти. Он вошёл в мою детскую душу со смертью крёстного, дяди Толи Мухарова. До сих пор помню тот день. Серый барак, серое небо, серое лицо покойного под окнами «Пятого», как у нас его называли, дома. Чего я боюсь? Умереть. Этого я боюсь больше всего на свете. Боюсь отмеченного печатью смерти и тления лица крёстного, боюсь закапывания в могилу, могильного холма. Боюсь больниц, больничных палат. Больничные пижамы также наводят на меня непроходимый страх. Крёстный же болел. И я не только помню, но и всякий раз привожу на память посещения больницы, когда рассматриваю семейный альбом. Что-то особенное есть в больных. И этой особенности больничной жизни я боюсь тоже. С раннего детства я сам я не вылезал из больниц. Разве что в то лето в Казыевке не болел ничем, но больничный страх помнил, он жил во мне сам по себе, то забываемый, то вдруг охватывающий могильной жутью. С первого по восьмой класс «жало смерти» преследовало меня в виде ревматизма сердца, от которого лечили болезненно переносимыми уколами «Бицилина» и витамина «В 12».

Хорошо помню бабушек – Марфу и Шуру.

А ещё – убранный снежной белизны занавесками бабушки Марфы красный угол, лампадку, иконы. Пожалуй, это было первое видимое знание о потустороннем мире. Дома у нас икон не было, мама, будучи членом партии, икон в доме не держала и никогда не молилась. Была икона у бабушки Шуры Мухаровой, её я помню тоже, но почему-то гораздо позже и не с таким мистическим впечатлением, которое сохранила память об иконах бабушки Марфы. Может, оттого, что перед ними молилась бабушка, крестился дедушка, дядя Саша и тётя Нюра, садясь за стол? А ещё оттого, может быть, что всю ночь перед иконой теплилась лампадка. Тайнственность её свечения особенно впечатляла после того, как тушили керосиновую лампу, висевшую на цепях. Лики выступали из темноты, от света лампадки шло малое солнечное сияние. Каким-то жутковато-заманчивым было это сияние. «Это Боженька, Бог», – думал я словами бабушки. Там, объятый мраком, внутри огромной тьмы, неугасимый свет лампадки напо-

минал о Боге. Зачем Ему молились – я не знал, зачем крестились перед едой и крестили стол – не знал тоже, но вкуснее бабушкиной белёной похлёбки из глиняной плошки, вырезанной из липы дедушкой Мишей ложкой, бабушкиного кваса, пирогов с малиной, пшенника, лапшенника, «мятой картошки», с коричневой коркой, круглых хлебов из печи, топлёного молока, творога, оладушек со сметаной, чаю из самовара, с ма-аленькими кусочками колотого сахара – я вкуснее не едал.

«Кушай с Богом... Ступай с Богом... Слава Богу... Бог в помощь... Бог спасёт... Не приведи Господи... Упаси, Боже... Чем Бог послал... Без Бога не до порога... Бог правду видит, да не скоро скажет... Рай Божий... Царство ему Небесное... Ангел-хранитель... Никола-Угодник... Царица Небесная... Троица... Пасха...» – это не сходило с бабушкиного языка и само собой запечатлелось в памяти, всякий раз напоминая о себе, когда на село опускалась ночная тьма. В избе как бы пропадали стены, и бабушкин потусторонний мир выступал из мрака, оберегая от зла и напасти.

О существовании зла и напастей приходилось слышать куда больше, чем о Боге. Говорили о колдунах, порче, сглазе, килах, чёрной немочи... И всего этого боялись больше, чем Бога. Бога не боялись. Может, оттого, что Он сотворил этот мир, светлый и прекрасный, как жаркий июльский полдень, с сонными зелёными мухами на тёмных бревенчатых стенах дома, на дощатой завалинке, огромными и ленивыми – хоть всех переколоти. И на этой сотворённой Богом лужайке дедушка Миша толчёным красным кирпичом чистит самовар. Отава сочная, тёмно-зелёная, ходить по ней босиком колко, а в груди приятно щекочет от укулов. Мы, ребята, трём небольшие осколки красного кирпича о большие кирпичи и натёртую пыльцу подаём дедушке, а когда он уносит самовар, идём за дом, где в неглубокой квадратной яме тетя Нюра месит ногами грязь – глину, песок и солому, а затем этим месивом закидывает и обмазывает плетёную из тальника стену хлева. За хлевом – грозди красной смородины, пахучие ягоды черной смородины, колючий крыжовник, малина попеременно с крапивой возле забора, вишни, сливы, яблони, и чего-чего только нет – и всё это сотворил Бог! Как же Его после этого бояться? Он добрый, Он щедрый! Правда, помню, как один раз, по уверению бабушки, «Бог наказал» нас, когда мы решили тайком от хозяина пасеки полакомиться мёдом. Подкрались потихоньку со стороны дворов через заросли репейника, белены, лебеды и крапивы к самому плетню, за которым непрерываемо мерно гудело что-то живое и загадочное. Затем увидели и разгадку – пчелиное облачко. Домой вернулись с рёвом, и хотя «поделом наказанные», но «слава Богу, живые». То лето благодати Господней по сей день стоит в памяти как чудный сон райского детства.

В конце шестидесятых Березины (фамилия дяди Саши, с тётей Нюрой) вместе с дедушкой и бабушкой (их фамилия была Бутусовы) переехали в наш «совхоз», в небольшую квартиру из двух комнат в другом конце скотного изолятора. Дедушка Миша стал сторожить детсад, разместившийся в бывшей военной казарме, бабушка занялась домашним хозяйством, дядя Саша пас коров, тетя Нюра их исправно доила. Доярки в те времена были в привилегированном положении относительно жилья, поэтому они и получили немислимые по тем временам апартаменты.

Тогда дыхание смерти ещё раз и довольно сильно напомнило о себе.

В один из летних грозových вечеров вдруг не стало деда.

Помню, как он надел офицерский плащ и отправился на дежурство. Мы с крыльца до самого конца, до самого последнего момента смотрели ему вслед. Как сейчас вижу его удаляющуюся в поле фигуру с бегущим рядом псом. Какой-то запечатлевшийся в детском сознании миг! Чёрное небо разламывает зловещий зигзаг молнии, ослепляет, оглушает – и дед пропадает из виду! Мы влетаем в дом с ужасной догадкой. И верим, и не верим. Все выбегают вон. Отчего-то буквально тут же перестаёт дождь. По чьей-то подсказке деда поспешно засыпают землёй. Может, оживёт, с кем-то так было, так делали... А он будет лежать почерневший, с

черной дыркой в голове, ко всему безучастный и уже нездешний. Таким нездешним-неразгаданным он и остался в моей памяти навсегда.

Потом его похоронят.

И жизнь будет так же продолжаться, как и моё детство. А потом я выпаду из него. Когда и как это произойдёт, не знаю. Знаю только, что это неизбежно.

Мои школьные годы в самом начале совпали с хрущёвскими гонениями на церковь: религия – опиум для народа, все – на борьбу. В антирелигиозных утренниках я принимал самое активное участие: играл на баяне, пел частушки, читал кощунственные стишки.

Верил ли я во всё это?

Наверное, да. И потом, как было не верить Гагарину? Я хорошо помню весь ажиотаж вокруг первых полётов в космос. Сначала лайки – Белка и Стрелка. Затем – Гагарин. Махнул рукой: «Поехали!» И сквозь клубы ракетного дыма... иные миры, галактики, туманность Андромеды, Млечный Путь, инопланетяне, гравитационная энергия, Марс и марсиане, новая космическая эра. И – Бог. Эти понятия казались несовместимыми в моём школьном сознании.

Не скажу, что в те годы я бредил исключительно космонавтикой. Гагарин, конечно, был для меня героем, я любил его, но не больше, скажем, зимнего ельника, с его крутыми лыжными горками, первого гладкого, ещё не занесённого снегом льда нашего огромного пруда, осенних туманов, ночной рыбалки, костров, зимних вьюг и метелей... Я любил Божий мир за его чудную красоту. И красота эта, как вода, заливала пламень искусственно разжигаемой борьбы с верою предков. И потом, бороться с кем, со своими бабушками? Ни иконы, ни церкви, ни тем более невидимый Бог – мне не мешали, не вставали поперёк пути. Что мне до того, что неграмотные старушки молятся? И потом, не всё же в этой вере мне было чуждо. Каждый год, как уже говорил, на Пасху, мы ходили по посёлку славить Христа, заранее зная, где и какого цвета дадут яичко, где копеечку или три, где сладостей, а затем дотемна катали с шиферных обломков в заброшенном детском саду крашенные яйца.

А если б кто знал, как обидно было мне лишиться крёстного! У всех были, а у меня вдруг не стало! И тогда мухаровская родня «назначила» мне нового крёстного, дядю Гену Мухарова. Парадокс! Но как я был счастлив!

Что ещё было известно мне о потусторонней силе? Вообще, испытывал ли я в те годы мистический страх? Увы. Как и страх перед смертью, он тоже никогда не покидал меня. Даже страх от слушания глупых детских «страшилок», про «черного-пречёрного человека», в «одну черную-пречёрную ночь, из одного черного-пречёрного дома, по черной-пречерной лестнице» вышедшего для такого же «чёрного-пречёрного» преступления... Помню жуть после первого просмотра фильма «Вий». Упыри, вурдалаки, Вий – «поднимите мне веки», и летающая в гробу ведьма. Всё это почему-то в затянутой паутиной церкви, с тёмными, грозными ликами икон. От рассказа «Семья вурдалака» А. К. Толстого тоже веяло морозной жутью: кровососы, кровопийцы, осиновый кол вместо креста на могиле вурдалачей. Потусторонняя сила была для меня реальностью. Верили мы и в приметы, сплёвывая через плечо, знали множество и других примет, в которые верили и не верили, но больше верили, и чаще тайком. Друг перед другом, правда, хорохорились, но наедине с потусторонней жутью – какая вопиющая незащищённость! И это несмотря на весь комплекс атеистических школьных наук.

Потом всё забылось. Прекратились гонения, как-то разом, вместе с кукурузным хлебом, с очередями за ним. Я вырослел, меня неудержимо влекло к себе чувство прекрасного, желание подражать, желание созидать.

3

Хотя дальнейшие воспоминания и приобретают более осмысленный характер, в течение той доармейской жизни не было ничего, скажем, необыкновенного, если не считать похорон

бабушки Марфы, когда я впервые оказался в нашей Карповской церкви. Исполняя просьбу матери, бабушки Марфы (мягкие круглые «печенюшки», скупо посыпанные сахаром «подушечки», хранимые, как драгоценность, в сундуке, составляли в памятные для неё даты наше любимое лакомство), отчим повёз отпевать бабушку в город, что было и необычно, и редко в ту пору, да и в нынешнюю, пожалуй. Я, по крайней мере, не знаю больше ни одного случая, чтобы кто-то из наших, совхозных, так поступил со своими родными и близкими. Отпевали чаще заочно, потихоньку, не афишируя. Поэтому был немало удивлён, когда узнал, что едем в церковь.

Помню каменную и по сию пору оставшуюся каменной, в шахматном порядке выложенную ограду, с луковкой и крестом над входом. Узорной ковкой открытые ворота, раскинутую вдоль берега Оки Карповку из неказистых, окружённых сплошными садами частных домов. Моста через Оку тогда ещё не было, и селение представляло край географии, куда не так-то легко было добраться.

Кладбищенски уныло в морозном тумане глянули на меня кресты куполов с восседавшим на них вороньём. Слева был двухэтажный аккуратный архиерейский дом, дорожка к которому шла через маленькое церковное кладбище, далее – опять сады, Ока и на высоком, поросшем липой берегу – Щербинки. Стаи голубей безбоязненно вышагивали слева от входа, где им сыпали пшена и семечек, вспархивали и опять оседали, посвистывая крыльями, воркуя о чём-то своём. Трудно представить Божьи храмы на Руси без голубей. Нищие, оборванные и грязные, сидевшие прямо на снегу, напомнили допетровскую Русь, какую знал по иллюстрациям картин передвижников и книгам. Среди мощно и упорно развивающейся индустрии – всё это представлялось островком с аборигенами в океане эпохи. Оборванные, нечесанные, с красными носами, с испитыми лицами нищие, просто дурачки, более прилично, по-церковному одетые торгаши, продававшие «Живые помощи», фотографии икон разных размеров, в окладах и без, вырезанные из липы или отлитые грубо из свинца распятия, и ещё что-то – все они заметно отличались от меня, франтовски увенчанного модной шляпой, в кожаных перчатках, в осеннем, с поднятым, как дразнила ребятня, «как у стилиаги», воротником. На груди – фотоаппарат. Надо было запечатлеть для потомства и «аборигенов», и их отживающее, как думал с первого класса, заведение, которое к восьмидесятому году, по уверению СНХ (стране нужен хозяин; хозяин нашёлся сам; самый настоящий хам; Хрущев Никита Сергеевич), как язвили у нас, разумеется, станет ненужным, и его превратят если не в музей, то в какой-нибудь полезный склад с цементом или удобрениями. «Умрут бабушки, эти глупые недотепы и беззубые «шпаси и шахрани», как дразнили мы их, и прикроют лавочку за ненадобностью». Глупышка! Я не понимал, что «бабушки» умереть не могут никогда, что они, как особый «стратегический контингент», выражаясь армейским языком, не наших замыслов и диспозиций, такие же «вечные и бесконечные», по уверению марксистов, как их пресловутая «материя». А стало быть, не прикроется и лавочка, которая, как пчёлами улей, благоустроена этими «Божьими пчёлками», как выразился один нижегородский священник, бабушками. Куда было мне это понять, с тремя прямыми линиями в голове вместо извилин, когда, подобно своим сверстникам, не зная ничего или совсем мало, я кичился и часто выставлял напоказ своё идиотское всезнайство, выразившееся в обычных словах: «Да зна-аю я их!».

В шляпе же, следом за гробом, втиснулся я с «журналистскими» целями в вымиравшую, однако очень плотную массу богомольцев. С меня тотчас сшибли шляпу, придушенно сказав: «Никак в храме стоишь, нехристь!» Заставили снять и перчатки и даже спрятать фотоаппарат, когда я, возмущённый до глубины души оскорбившей «моё величество» надписью на фреске свода трапезной, решил сфотографировать её, как факт «религиозного дурмана» и как обличительный документ кощунственного отношения небесной иерархии «к чувству простого советского человека». На фреске Пречистая восседала на троне, в окружении святых угодников и ангелов небесных, глядя с высоты на нас, сдавленных как в автобусе в часы пик, и как

бы слушала обращённые к Ней и очень оскорбившие меня слова: «Радуйся, Благодатная, о Тебе радуется всякая тварь». Кольнуло слово «тварь», с чем в сознании было связано что-то презренное, ругательное, кочующее в пролетарском обиходе.

«Это я – тварь?! Это вы тут все – твари!»

И, сдавливаемый со всех сторон, вовсе не собирался «им молиться», ни тем более креститься «после этого». И, однако, с любопытством следил за тем, как то тут, то там, а порою и через меня, кто-то передавал копеек десять, двадцать, а то и рубль на свечу. Денежка уплывала к свечному ящику и оттуда непременно через несколько минут, тою же дорогой, возвращалась к хозяину свеча. И никто (это когда все вокруг только и глядели, как бы чего стащить) и не подумал умыкать копеечку. А казалось, чего проще: сунул в карман – и никто не увидит. В «умную» голову не скоро дошло, что собираются сюда вовсе не для «этого». Все же деталь эта запала мне в память. И потом не раз в разговорах с другими я отмечал её. Казалось, одного этого было достаточно, чтобы понять разницу между «контингентом» и «преобладающим большинством».

Затем было само отпевание в пустом храме. Чтобы не креститься («Мы своих убеждений не меняем!»), а, по-моему, никто из наших тогда не крестился, я держал свечу в правой руке. И следил не столько за отпеванием, сколько за свечой младшего двоюродного брата Серёжки Березина, которая клонила, клонила и (вот здорово!) наконец-то подошла меховую оборку рукава пальто тёти Нюры. Мех вспыхнул, как бензин, все ахнули, кроме ничему, казалось, не способному удивляться батюшки, привычно и деловито махавшему кадиллом над гробом, и Серёга со страху и спросонья так дунул, что враз потушил пламя. Случай всем тогда показался забавным. Впоследствии, много лет спустя, он вспомнится мне, как некий символ, предвестник внезапной и страшной тётушкиной кончины. Тогда же мы лишь весело переглянулись и потом долго шутили над «поджигателем». Сам возраст побуждал во всём видеть только забаву. А посещение церкви – как одну из них. Во всяком случае, событие это совершенно не повлияло на течение моей привычной жизни.

Всё шло своим заведенным порядком. Курсы комкоров (комсомольских корреспондентов), статьи в газетах, стихи, театральная студия. А ещё – юношеские мечты и грёзы, волнения, влюблённость во всё женское, даже в разлитое в природе майское благоухание. Томление, беспричинная тоска, стихи, рассказы, тополь, ива, мостки для полоскания белья, скрип вёсел и тяжёлый бесцельный ход лодки, совместные игры, гораздо заманчивее и острее футбола и хоккея, прятки, «Знамя», и особенно садовник, ясельная беседка, первые обмирания сердца и зависть, когда выбирают не тебя, а какого-нибудь «тюльпана» или «василька». Казалось бы, глупости. Но из подобных глупостей слагалась вылившаяся впоследствии в некое обожание влюблённость в жизнь, в её многообещающие, но чаще обманчивые удовольствия, во все её прекрасные проявления и создания, но ещё не менее в то таинственное, что ожидалось впереди. Были, конечно, и разочарования, и сердечные раны, как у всех, но они не влияли на неудержимое желание будущего счастья.

4

Пожалуй, впервые всем нутром я почувствовал, что такое Родина, когда возвращался со службы, из Германии.

Ещё с Польши, которую проезжали в теплушках днем, мы толпились у открытого проёма и во всё горло скандировали всякой проходившей мимо женщине: «Доб-жа па-ныч-ка! Доб-жа па-ныч-ка!»

Под утро – пограничники с собаками, последняя перекличка и победоносное, как при взятии Рейхстага, «ур-р-ра-а-а», когда в предрассветной дымке пересекали вспаханную полосу,

отделявшую вроде бы людей от «нелюдей», социализмы от капитализмов, ещё чего-то от чего-то...

В Калининграде, на перроне, пока ожидали состав, обступили подвыпившего мужичка. С каким жадным наслаждением слушали мы простую русскую речь! Какая она была необыкновенно родная! Какая по-человечески живая! До того всем опостылело субординационное: «Равняйся! Смирно!» – что мы пили её как живую воду.

– Приедете, солдатики, домой, мамка на стол накроет, гостей скличет, нальёт по маленькой, выпьете, закусите, споёте: «Вьётся в тесной печурке огонь». Или: «Эх, топни, нога, топни, правенькая, всё равно девчата любят, хоть и маненький я!»

Всех аж трясло. Казалось, пустое, чушь говорил, а мы не могли послушаться, и то один, то другой просили:

– Отец, скажи ещё чего-нибудь!

– Ну, чего вам ещё, ребяташки, сказать?.. Гитлер капут!

И засмеялся вместе со всеми, обнажая страшный беззубый рот, заросший щетиной. Охотно закуривал, польщённый множеством протягиваемых открытых пачек.

– Бери, отец, бери ещё! У меня возьми, у меня сухие! А возьми всю пачку, отец, пригодится!

– Не-е-эт, – увесисто возражал он. – Всю взять никак нельзя. А одну... одну мо-ожно... А вобщем-то хорошо, ребяташки, что нет войны. И выпить, и закусить, и бабёнок – всего вдовсталь. Живи – не хочу! Только я вам советую жениться сразу же по приезде. Нечего выбирать. Какая по первости в руки попала – с той и живи. Это уж так повелось: начнёшь выбирать, на такую скырлу нарвёшься, хоть святых выноси. А когда с бою, на ура – оно аж в самую печёнку. Тут и ребяташки пойдут один другого краше, глазастенькие такие! Но, главное... главное, в этот ответственный момент не останавливаться. Строчи, как из пулемёта. Как батарею настрочишь – баста: нашей красной армии пополнение! У меня уж внучки пошли.

– А молоденькие? А познакомиться нельзя?

– Отчего нельзя? Мо-ожно! Да ведь вы дальние. А у нас тут и своих женихов хоть отбавляй, один другого веселей! Потому как, я вам прямо скажу, внучки мои хоть куда, первые красавицы! Все в меня!

И он оскалил два коричневых, прокуренных зуба. Всех взорвало.

– Ой, ой, умир... рай... йю... – приседал, хватаясь за живот, мой земляк, добавляя к общему веселью: – Так... кай... жа... крас... свиц... без... зуб... Ой!..

В поезде, не в теплушках, в которых тащили до границы, а в настоящих плацкартных вагонах, к нашему купе собрались все, кому не лень, где мы не пели, а почти что ревели под Высоцкого:

*Кто здесь не бывал, кто не рисковал,
Кто хлеба солдатского не едал,
Не проезжал в теплушках Варшаву и Брест!
В России не встретишь ты, как не клянись,
За всю свою счастливую жизнь
Ты не поймёшь, что значит
«Дембельский крест».*

Крестами были увешаны все сосны на месте планируемых последних перед «дембелем» учений. И то была правда: крест ассоциировался с некой победой. Через него мы как бы воскресали в новую жизнь, к которой теперь стремились, о которой пели:

Мы едем в Россию, мы едем назад,

*И от напряженья колени дрожат,
Блестят и сверкают значки на солдатской груди!
У порога родного я счастлив и нем,
Стою и совсем не завидую тем,
У которых два года службы ещё впереди!*

В Москве нас не смогли построить. Свои документы у сопровождавших и грозивших гауптвахтой за аморальное для советских воинов поведение командиров мы выкрали, вскрыв купе. И, высыпав на перрон, тотчас рассеялись в привокзальной толпе. «Найн гаупвахта! – кричали мы. – Их бин кранк!»¹ И летели, кто куда. Кто на такси, кто в метро.

Помню долгое ожидание на Курском вокзале ночного поезда. Бессонную, уже совсем невесёлую ночь. Под утро припал к окну вагона: вот он знакомый Ивановский переезд, пруд, вербы, две кирпичные трёхэтажки на берегу, тополя, мостки, «куркульная» Горбатовка, облезлая станция «Доскино», переезд, Орловка. И дальше уже хоть и знакомые, но не такие родные места. Наконец, Московский вокзал, со своими грязными, холодными подземными переходами. Площадь перед Канавинским универмагом. Знакомая мирная речь, лица, такси, автобусы и трамваи с приятно узнаваемыми номерами. И на подходе к дому неожиданно появившаяся из-за угла такая родная и так неожиданно постаревшая мама.

Радость первых счастливых дней почти забытой гражданской жизни. Я ещё просыпаюсь в шесть ноль-ноль по привычке, а иногда с жутью в сердце: неужто – казарма? И тотчас успокаиваюсь, потягиваясь на диване.

Кот играет с солнечным зайчиком на полу, слегка парусит тюль, свежесть июньского утра течёт через открытую форточку. Дома никого: сестра Ирина в школе, мама на работе в конторе, отчим моет золото в тайге. Один я пока бездельничая, загораю, купаюсь, листаю книги, записные тетради, дневники. Я ещё никак не привыкну к новому ритму жизни, и по пробуждении меня ещё тянет по привычке пробежать километр или два, повисеть на турнике, покачать пресс. Я никак не отвыкну от строго соблюдаемого армейского порядка, хотя и понимаю, что уже наступила совершенно другая, совершенно не похожая на прежнюю жизнь. Какая? Жизнь взрослого человека. На меня уже смотрели как на возможного жениха. Одноклассницы полусути, полувсерьёз уверяли, что пора бы и жениться, вон-де сколько невест вокруг. И невест на самом деле было много – да не нравились они мне. Не следовать же глупому совету пьяненького мужичка! Что за дичь – жениться на первой попавшейся для пополнения рядов красной армии!

И я засобирался в тайгу.

5

Дождь шёл всю ночь. И то однообразно шуршал по траве, под маленьким низким окном, то порывисто стегал по чёрному дребезжащему стеклу бывшего тюремного барака, где мы отдыхали после смены.

Внизу кипела Бирюса. Её было слышно даже сквозь шум дождя. Дождь с перерывами шёл весь день, и то тут, то там время от времени вспыхивало и гремело. Тайга в такое время особенно сурова, враждебна и непредсказуема, как затаившийся зверь. Сразу понимаешь, кто ты и где ты.

*Сырая тяжесть в сапогах,
Роса на карабине.*

¹ Не хочу на гауптвахту. Я болен (нем.).

*Кругом тайга, одна тайга —
А мы посередине.*

Так, порою, мы пели.

Ночью я проснулся от грома. В комнате было темно и сыро. Печь давно потухла. За окном то и дело вспыхивало и гремело так близко и страшно, точно рушились скалы. В промежутке между сполохами под окном словно бил фонтан.

Отчего-то вспомнилась мама, уютная двухкомнатная квартира в прочном кирпичном доме, с громоотводом. Шкаф с любимыми книгами. Тепло семейных праздников. Обязательные в таком случае пельмени с чесночком и горчицей. Сытое застолье. Певучие, как и все в Мухаровской породе, дядьки, улыбочивые и весёлые работяги. И, конечно, бабушка Шура, для которой, казалось, не было плохих людей, а все «хорошие и багливые», как выражалась она, или «болтушки» – о тех, которые безуспешно пытались задеть её самолюбие. Напрасное старание: у неё его просто не было. Во всяком случае, в ту блаженную пору.

Как, помнится, всегда, по-старчески немощно и всё же важно выходила она, развернув шаль, пройтись под мой аккомпанемент на баяне «барыню». А на святках, с каким самозабвением, взявшись под руки с бабой Ганей Кашадовой, на весь совхоз выводили они её любимую песнь:

*Ой, мороз, мороз,
Не морозь меня.
Не морозь меня,
Моего коня...*

Ничего особенного в те далёкие времена это не представляло. И, сколько мне известно, не только у нас. Желавших отвести душеньку было хоть отбавляй. Справляли и Масленицу, переименованную в «проводы русской зимы». С непременно блинами, чаем на льду нашего огромного пруда, со снежной бабой, с дырявым ведром на голове и морковкой-носом. Был тут и обледенелый столб для удалцов, с призом наверху, и, увы, уже лишь переодетые в «русских красавиц» женщины, песни, частушки. И зябко, и грустно, и весело. Какой-то цветистый лоскуток древности, его ядрёное, как квас, дыхание. Забытое-презабытое, но отчего-то ещё волнующее. Скрип расписных и простых саней, визг и восторг детворы. А поутру или даже к вечеру, когда потянет со стороны железной дороги пробирающим насквозь ветром, пометёт мусор, клочки соломы, обёртки конфет, окурки, всегда оставалось чувство неудовлетворённости, как в детстве: пообещали подарок – и не привезли.

Куда цельнее воспринималась застольная песня. В ней было больше искренности, не было той эстетической парадности, она жила, а порою будила в душе нечто до того глубинное, до того важное, что, казалось, не будь этих песен, я любил бы и понимал свою землю куда меньше, а то и вовсе бы не любил. Проводы же русской зимы уже не были, к сожалению, тем последним весельем перед заговеньем, когда поутру всё преобразается от грядущего по городам и весям Чистого Понедельника, тем началом всенародного покаяния, собиравшим в первых сумерках в храмы народ русский, отворяя, особенно после вчерашнего Прощёного воскресения, двери Великого Канона: «Откуда начну плакати окаянного моего жития деяний? Кое убо положу начало, Христе, нынешнему рыданию? Но сам мне даруй, Спасе, умиление».

Поскольку не было этого покаянного продолжения, а также ожидаемой вдали связи с вечностью, Пасхи, всё обрывалось тут, возле грязной чёрной от угля луже, на месте снеговика, клочков соломы и мусора, да ещё беспросветной, ничего не обещающей впереди, кроме «голодной могилы», жизни. И мне ведь предстояло умереть! Умереть, чтобы «никогда и никогда», как выразил свой ужас перед грядущим небытием один мой земляк. Иногда при мысли

о смерти (гроб, сырая земля, могильные черви, вечный холод и мрак) мне становилось дурно. Зачем? Вся эта жизнь, всё это – зачем? Чтобы умереть и быть забытым навеки? Забыл же я крёстного, Вовку Патроманского, которого переехал трактор, одноклассника, умершего от белокровия в десять лет, я даже не пошёл посмотреть на него умершего. А мать школьного друга, Валентина Грачева – какой удар для всего нашего девятого «А»! И особенно для меня – его слова: «Пахнет». Кто – мама? Как он мог так сказать? Мама – и пахнет. Но забыл же! А все мы, весь наш род, репрессированный, сгинувший в тюрьме ни за что дед, бабушка, – вообще все, весь род человеческий, появились тут для чего? Чтобы умереть и «никогда и никогда»? Какая то была вопиющая несправедливость! Одна-единственная среди всего этого великолепия. Всё, решительно всё до мелочей было рационально и премудро, и лишь одно единственное «никогда и никогда» перечёркивало напрочь всё, отравляло сознание, ограничивало, а то и на нет сводило радость бытия.

6

Осенью мы перегоняли бульдозеры от Бийска до Степного, Солонешенского района, где в горах Алтая открывался новый участок. До заморозков, наступавших в горах в конце октября, надо было сделать вскрышу на будущий год.

Тогда, в Бийске, если не считать детства, когда с бабушкой Марфой ходил из Казыевки к «Егорию» в памятный дождём и причастием Троицын день, я второй раз был в церкви.

В середине октября тут уже лежал снег, на улицах было неуютно и холодно. Три дня, в ожидании подхода на станцию состава с нашей техникой, мы бродили по городу в поисках развлечений и даже, чтобы походить друг на друга, выкрасились в парикмахерской с моим тогдашним приятелем Пашкой Новосёловым в черный цвет. Сидеть в гостинице к вечеру было просто невыносимо. И мы слонялись по осеннему городу в поисках кинотеатра и хотя шутили, что «лучшее кино – это вино», пить надоело.

Ночной Бийск представляется в памяти, как «Урень в сорок восемь деревень». Хотя был там, кажется, театр драмы. И даже центр, с красным флагом на крыше дома «советов или приветов». Мы особо не разглядывали, а вот кинотеатр нашли и что смотрели, не помню. Зато хорошо помню, как в одной из слабо освещённых улочек, подсвеченная фонарями, величественно и уверенно спокойно плыла и плыла ввысь, навстречу крупному снегопаду, белая каменная церковь, с невысокой колокольней, за каменной же, как в Карповке, оградой.

Что потянуло меня туда, не знаю. Может, тоска, спустя два дня вылившаяся в том вопросе, который задам Васе-паровозу во время перегона бульдозеров по заснеженным степям Алтая, а может, болезненное от простуды недомогание, перешедшее на подъезде к Солонешному, с красивой высокою церковью на отшибе, в грипп, с высоченной температурой, так что весь остальной путь вдоль реки Ануй, мимо бесконечно тянувшегося вдоль сопок Топольного, до самого Степного я проехал в полусонном бреду.

Сказав что-то своим «архаровцам» и дождавшись, когда скроются из виду, я повернул назад и быстро, зачем-то оглянувшись, вошёл в ограду церкви. Во дворе было пусто и тихо. Сквозь стеклянную массивную старинной работы дверь струился тихий свет. В притворе, на лавках, совсем похожие на карповских, сидели нищие: старичок, с шапкой-ушанкой на коленях, перевязанная шалью старушка, безногий, с испитым лицом инвалид на каталке с маленькими колёсиками. Передвигаться он мог, очевидно, лишь с помощью рук. При моём появлении они стали истоиво креститься, нарочно на меня не глядя. На этот раз я отнесся к ним иначе. Выгреб мелочь и, отчего-то волнуясь, раздал её.

– Спаси Христос... Дай Бог здоровья, благополучия, – благодарно забормотали они, крестясь.

Я поспешил пройти дальше, где за другими красивыми дверями шла вечерняя служба. Народу было немного, в основном впереди, у алтаря. Слева от входа была стойка со свечами. Я купил самую дорогую, за три рубля, и спросил у одной чем-то напомнившей бабушку Шуру и отчасти бабушку Марфу, старушки у подсвечника:

– Скажите, пожалуйста, кому свечку надо поставить, чтобы всё было хорошо?

Она снизу глянула мне в глаза, отчего я опять застыдилась, положила на медный подсвечник гусиное перо, которым смахивала в сухую, как у бабушки, ладонь застывшие капли воска, отер ла о тряпицу руки и спросила:

– В первый раз, что ль?

– Я не здешний.

– Вижу, что не наш. Эх умотало тебя! Вон... поставь «Споручнице грешных».

И указала на большую, в серебряном окладе икону, где Господь держал в руках правую руку Божией Матери.

– Молитву знаешь какую?

– Нет.

– Запомни самую доходчивую, – и она произнесла негромко, протяжно, а главное, так проникновенно, что у меня даже защипало в носу: – Го-о-споди-и, поми-и-илуй... Запомнил? Ступай с Богом.

И ещё что-то уже вполголоса, со вздохами, всё причитала и причитала, пока я почему-то дрожащей рукой зажег от другой свечи свою и ставил на подсвечник.

Шагая по тихой улице в сторону гостиницы, я вдруг заметил, что со мною что-то случилось. Окружающее уже не давило и не угнетало, как прежде, как будто что-то забытое из самого раннего детства вошло в моё сердце.

Утром прибыла наша техника. День ушел на перевоз её трайлерами за город, в завьюженные, с туманными далями степи Алтая. А затем по двое в бульдозере, очумелые от шума, похмелья, голода и холода, мы тащились наугад по волнам сиявшего до рези в глазах белого покрова к синему впереди горизонту, от одной черной приметы, деревушки, к другой, населенных людьми отзывчивыми, выручавшими нас, болезных, то лучком, то солью, то хлебушком и даже соленым салом. В советских магазинах, кроме водки и «Завтрака туриста», который даже собаки не ели, ничего не было.

На ночь мы пришвартовывались к такой заметенной деревеньке, пропускали для согрева по стаканчику и то дремали в тархтевших бульдозерах, развернув их задом к ветру, чтоб не выдувало то малое тепло, в котором ещё кое-как можно было существовать, то вели нескончаемые разговоры про «жись».

Тогда, помнится, в шутилой форме я и задал пожилому семейному бульдозеристу Васе-паровозу мучивший меня в то время вопрос:

– Рассуди, Вася, на ком жениться? Одна говорит: «Делай, что хочешь, только меня не обижай». Другая: «Не пей, не кури, мой мне ноги и воду эту пей».

Любовь, как и любовь к пресловутой «свободе», в моём воображении, под впечатлением от беспешашного старательского окружения представлялась тогда в виде нескончаемого праздника, но никак не обязанности, пусть даже и семейной. В большинстве окружавших меня тогда людей я видел сочувствие к такому образу жизни. Но что-то всё же глодало совесть, раз хотелось подтверждения со стороны. Может, поэтому обратился к такому легкомысленному, как думалось, всегда шутлившему и такому же чудачу, как все, Васе-паровозу. Прозвали его так за то, что по возвращении с первого сезона пытался нанять на станции за отсутствием такси паровоз, чтоб добраться до родного поселка, куда вела тупиковая, давно заросшая травой ветка.

Что же услышал!

Вот уж воистину даже через бессловесную ослицу Бог может остановить безумие пророка – нашего жалкого надменного ума.

- Которая говорит, «не пей и не кури», – не задумываясь, ответил он.
- Это ещё почему?!
- Она думает жить.

Это было новостью. «Думает жить». Выходит, всё, чем жили мы – не жизнь? Что она есть совсем не то, что я себе представлял? Ну да, я мечтал о семейной жизни прежде. Но что это были за глупые идиллические мечты! Разве можно было относиться к ним серьёзно? Оказалось, да, и не только можно, но и нужно относиться к семейной жизни исключительно серьёзно. Словом, задал мне Господь через Васю загадку. Следующей весной, недалеко от слияния Корымы с Ануем, Он задаст мне ещё одну.

В тот день, помнится, было прекрасное майское утро. Сопки, поросшие жидкими березками и кустарником, кое-где лиственницей, благоухали множеством цветов. Солнце изрядно подыело тени, туман зыбко курился над шумной протокой. С северной сопки к проволочной ограде спустилось стадо маралов. В широченной от сопки до сопки пойме, тянувшейся километра три – от слияния рек до поворота южной сопки к Тоголтаю, шла оживленная подготовка к промывке. Недавние сенокосные угодья и пастбища были обезображены нами. Не только маралам было чему подивиться. С появлением тепла не расцвел ни один цветок, не зазеленилась ни одна травка. Вся эта пёстрая и пахучая растительность ради презренного металла была соскоблена и сгружена в огромные кучи поближе к «Элеваторам» в ожидании промывки, а сама пойма превращена в грязный отстойник. Жители Топольного поносили нас на чём свет стоит, а мы, не обращая внимания, делали своё дело, презрительно величая их кулугурами. Старообрядцев и в самом деле тут было немало: благообразные, в подпоясанных косоворотках, с седыми бородами, в сапогах, старики, в тёмных, если не сказать в чёрных, повязанных на глаза платках, старухи – неразговорчивые и недоброжелательные с виду. Хотя за что было нас жаловать? Несколько купленных за бесценок в заброшенном Чегоне домишек мы перевезли и поставили вдоль Ануя. Как всегда, целыми днями топились банька, которой заведовали мы с Пашкой Новосёловым. Дымилась труба столовой. На ремонтной площадке кипела обычная работа. Тут же, вместе с собаками, среди разобранных бульдозеров, бродили грязные поросята. Каждый был занят своим делом, а мы с Пашкой своим.

А потому, подцепив к бульдозеру железную бочку на полозьях, отправились за чистой водой для бани и столовой. В Ануе вода была мутная и непригодная для питья. И мы качали ее ручным насосом из ключа под южной сопкой. Работали по очереди, не торопясь. Впереди был целый сезон, спешить было некуда. Солнце припекало. Успокоительно журчала вода в реке. Клейкие листочки на берёзках трепетали на слабом ветру, трава серебрилась и гнулась от обильной росы, щебетали, порхая с ветки на ветку, птицы, и так мирно, так благодно было вокруг и особенно здесь, на пригретой полянке, за сопкой, скрывшей обезображенную пойму, что, казалось, так будет всегда в нашей кажущейся бесконечной молодости. Искусственно чернявые, чем-то похожие, мы по-молодецки легко, играючи работали насосом, перебрасывались пустыми, казавшимися нам смешными фразами. Жажда и сила молодой жизни играла в нас, и многое представлялось в розовом цвете.

Шутили о том, что неплохо бы для разнообразия жениться на какой-нибудь «невесте», построить на этой, к примеру, поляне дом – и жить. И хотя бабушка уверяла, что моя «жена ещё не рожена», я всерьёз подумывал о женитьбе. Разговор с Васей-паровозом к тому подталкивал. Похоже, и Пашка думал о том же. И даже, как оказалось потом, опередил меня, удачно, как думается, женившись в конце сезона на «невесте» по имени Татьяна. По осени, когда играли в Степном свадьбу и всю совместную дорогу до Нижнего, я исходил завистью, перефразируя знаменитого Митрофанушку: «Хочу жениться». Но всё это будет потом, а пока мы были веселы и беспечны, и всё вокруг, казалось, обещало одни только радости впереди.

Не знаю, когда и как оказался рядом седой старик, один из тех тополинских кулугуров, в подпоясанной косоворотке, в истёртом пиджаке, полосатых тёмно-синих штанах, сапогах и

кепкой на голове. Он подошёл, держа на плече удочку, в другой руке брезентовую, подмокшую снизу сумку, из которой пахло свежей рыбой.

– Бог в помощь!

– Бог спасёт! – по инерции ответил Пашка.

– Золото добываю?

– Есть маненько. А что – нельзя?

– Кто ж вам воспретит? – хмыкнул он и, покачав головой, глядя мимо нас, задумчиво произнес: – Всё золото, золото... А придёт время (может, доживёте), захочешь пить, глянешь, вроде вода блестит-переливается, подойдёшь – а там золото. И везде, куда ни глянь – одно золото, воды ни маковой росинки. Так-то, сынки.

И пошёл своей дорогой, прямой, статный, как и не старик вовсе. Мы переглянулись – и ничего не сказали. Нечего было сказать. Старик напомнил о конце света, о чём мы, конечно, слышали, как о придуманной «толстопузыми попами» сказке. Но какой резон было врать этому убелённому сединами старцу? Какая корысть? И если он прав, что тогда? И ад, и рай, и конец света, и Страшный Суд – никакая не сказка, а вполне возможная реальность? Однако думы эти недолго посидели в весёлой голове, надо было работать, надо было жить. Земля ещё не горела, вода не убывала, золото было в цене, а мы молоды и беспечны.

Глава третья

1

В ту осень решила и моя судьба. Господь услышал Митрофанушкину молитву.

Теперь я иногда шучу, что женила меня мама, но это совсем не так. И хотя официальное предложение я сделал именно после совета мамы («Сходи-ка в общежитие: какая там хорошая девушка есть – Галя Лебедева!»), я много раз видел её прежде, а за день до памятного вечера встретил её на главной улице совхоза катавшуюся с подружкой Шурой на железном ящике из-под кефира. Обе так заразительно весело смеялись, что я невольно остановился и, поглядывая на их детскую забаву (одна лошадка – другая кучер), сказал, нарочно путая её имя:

– Здравствуй, Светочка!

– Эх! Опять – Светочка!

Она возмущенно мотнула толстой чёрной косой. А я стоял и любовался на её румяное от мороза лицо. Относительно суженой, как уже упомянул, я имел некое представление, пусть глупое, пусть смешное, о чём не раз мечтал и до армии, и на полигонах Тюрингии, в нарядах по караулу, на пересыльных пунктах, и представлял так: вот я какой-нибудь если не писатель, то профессор каких-нибудь «кислых шей», как иногда шутила мама, поутру встаю на работу, жена подаёт завтрак, потом портфель, мы целуемся, и я ухожу на работу; она, скучая, подолгу смотрит в окно на дорогу, а вечером встречает меня со счастливой улыбкой, принимает портфель, что-то любовно смахивает с моего плеча, поспешно собирает ужин; пока ем, подперев рукой подбородок, смотрит на меня очаровательно мило, я откладывая вилку, беру её руку, целую и говорю: «Какой замечательный салат!» Что-то в этом роде.

В общем, пришёл я тогда в общежитие, позвонил и, когда отворилась дверь, сказал:

– Мне бы Галю Лебедеву.

– Это я.

Я сделал вид, что приятно удивлён. Затем принял нарочито таинственный вид и сказал заученную, много раз варьированную фразу:

– Я пришёл по очень важному делу и хочу прямо с него начать, а то будет поздно. Можно? На лице её изобразилось любопытство, она дернула плечами.

– Слушаю.

– Выходи за меня замуж!

Она так удивилась, что не нашлась, что ответить.

Однако свадьба наша состоялась гораздо позже, после неоконченного по вине внезапно пришедшей ко мне любви последнего сезона уже на Амуре.

Я сказал, «пришедшей ко мне любви», но так ли это? Можно ли назвать любовью то, что переживалось мною тогда? И, однако же, не могло быть и никогда бы не осуществилось без того, что было.

2

А была настоящая, как и подобает провинции, русская зима, с её чистыми скрипучими в морозы снегами, короткими то солнечными, то вьюжными днями и долгой, пронизанной стужей тьмой.

В такие вечера мы подолгу сидели в нашем тёплом уютном зале, я открывал заветный ящик, где хранились оставленные до благословенных времён рукописи неоконченных рассказов, планы повестей, стихи. Хранились там и вырезки из газет, дневники. Чем дольше длилась эта, казалось, исключительно растительная жизнь, тем трепетней было чувство, когда отворял заветный ящик. С ним связывалось всё самое лучшее, что было во мне, к чему когда-то стремился и отчего ушел «на страну далече», и теперь, «изжив вся имения», вспоминал, как о не со мною бывшем, не мною написанном – на службе, ночной каптерке художника, где хранились мои рукописи и книги с очень дорого доставшимся словарём Ожегова, у печурки дневального на зимних учениях, на брёвнышке в холодном чужом сосновом бору («лукен вальде») и в просторном, уютном, чистеньком читальном зале ДК ГАЗ, куда заходил после работы в КЭО, и, конечно, в той второй, закрытой спальне, где теперь отдыхали родители и младшая сестра Ирина, а мы полуночничали.

И я выкладывал и выкладывал заветные папки, развязывал тесьмы и, прочтя несколько строк, чувствовал угрызение совести, а ещё – восхищение, протягивал посмотреть Гале, сидевшей в удобном кресле у торшера. Радовался её удивлению и той радости, что доставляло просматривание заброшенного увлечения юности. В такие минуты в душе воскресало всё самое хорошее, самое светлое, что было в моей жизни, и всегда, а особенно в последнее время, отзывалось упрёком. Тогда, оглядываясь назад, я как бы успокаивал себя: «Это пока, а вот придёт время, когда я всё брошу, и...» И чувствовал, что раз от разу всё грубею и тупею, и Бог весть, что ещё со мной происходит, что жить так нельзя, надо что-то делать, а жизнь несла и несла, как течение. Подспудно я чувствовал, что старательство моё вовсе не «собрание материала», как думал, уезжая, и никакой такой премудрости «на краю света» нет и, видимо, никогда и не было.

Ничего особенного не нашёл я и на Украине, куда несколько раз ездил в командировку от завода, на котором около года, до старания, работал регулировщиком радиоаппаратуры. Помню погружённый в непроглядную украинскую ночь Коммунарск, где на каком-то заводике изготавливали детали для наших радиостанций. Сады черешни и виноградники, мягкий малоросский говор («Тю-у, а я и нэ бачу»), шахтеры, с чёрными, как у негров, лицами, и – контрастно румяные хохлушки, белые хаты, скудные безлесые дали и тоска по дому. Хорошо помню, с какой радостью вступал всегда на родную землю, с какой нежностью смотрел на струившиеся в свете ночного фонаря космы берёз, на пахучие липы парка, чёрную полоску далёкого леса.

Всё было, как везде и всюду. И чем больше я странствовал, тем больше понимал: вся премудрость «внутри нас есть» или, как перефразировал Тютчев: «В самом себе лишь жить

умей: Есть целый мир в душе твоей». И мир этот с каждым годом я всё больше и больше открывал в себе.

За окном мело. Серdito стегало по чёрному, отражавшему черты здешнего уюта, стеклу крупинчатым снегом, а в этом тихом домашнем тепле, у ног покорно сидевшего с папками на коленях дорогого существа, я находил необыкновенное блаженство. В такие вечера Галя никогда не думала о себе и готова была сидеть или бродить по пустынным улицам хоть до утра, а потом, не выспавшись, бежать на работу, но я, жалея её, отправлял отдыхать:

– Ступай. Тебе завтра вставать рано, а я высплюсь.

Она благодарно закутывала меня в воротник новой купленной на старательские деньги искусственной, богато отливавшей баргузинским мехом шубы и, опустив глаза, говорила:

– Так тебе будет теплее. Такой ветер на улице.

– Ты замёрзла?

– Не очень.

Я брал её холодные руки и, стараясь отогреть дыханием, возражал:

– Какое – не очень? Как ледышки!

– Зато любовь горячая, – отвечала она избитой фразой и, заметив мою улыбку, спрашивала: – Ты, правда меня любишь? За что? Я такая дурочка.

– Вот за это самое и люблю.

– Что дурочка? – смеялась она. – И тебе со мной не скучно?

– Иди, спи!

– Не хочу.

– Иди.

– Не пойду.

– А я говорю – иди!

Она покорно вздыхала, грустно, будто на век прощаясь, смотрела на меня и, наконец, соглашалась:

– Ла-адно, пойду. Только ты – первый, а потом – я.

– Нет, ты первая.

– Нет – ты.

В это время скрипела дверь внизу. Галя поспешно поднималась по ступенькам и скрывалась в дверях общежития. Почти каждый раз повторялось одно и то же и нисколько не наскучивало и не казалось глупым.

3

А потом была наша первая разлука. Галя уезжала с подружкой в Таллин. Не знаю, скучала ли она, но я не находил себе места. Окружающий мир потускнел. Всё так же, казалось, было по-зимнему великолепно вокруг, с заиндевевших ветвей, искрясь, осыпался иней, играл серебристыми иглами снег на крышах домов, заборах, на лапах елей и сосен, всюду, – и ничего это меня не радовало, как прежде.

Я старался придумывать занятия, пробовал читать, но некогда увлекавшие письмена оставались чужими, пробовал сочинять стихи, но муза спала, я насилу выдавил всего две строчки: «Ты уехала. Я печаль / Скрою под снегом белым». Перечитал рассказ о театральной студии, в которую ходил с полгода до призыва – и на меня вдруг пахнуло очарованием юности, тех связанных с нею светлых надежд, чем тогда жил, чему верил, что любил. После работы (а работал я мотористом КЭО ГАЗ) долго, помнится, добирался до верхней части города, где находилась редакция «Ленинской смены». Подымался на допотопном лифте на третий этаж и некоторое время бродил в ожидании начала занятий комсомольских корреспондентов. Доставал из папочки через силу написанные по заданию руководителя заметки, зевая во весь

рот, перечитывал их. Надо сказать, «газетный жаргон» постоянно выбивал меня из привычной колеи «высоких дум» и «собирательных образов». В газетной стихии я чувствовал себя настолько стесненно, что даже дивился, как это можно всю жизнь каждый Божий день корпеть над гранками никому ненужных газет. Это сколько же надо было выдавить из себя нелюбимых, неживых слов, чтобы назавтра в них завернули селёдку или, порезав на квадратики, снесли в туалет? Они выпускали молодежную газету, а мы, молодые, её не читали. Ничем она не отличалась от других, в том числе и центральных газет. То ли дело живые страницы «Тихого Дона» или других любимых книг.

Но приходил руководитель, начинались беседы по стилю, говорилось о каких-то его особенностях, я зевал и потихоньку читал пьесу, которую разучивали в театральной студии. Там было намного занимательнее. И сама Зоя Николаевна Кульковская, режиссер студии, определившая, наконец, мне главную роль в пьесе Макаёнка «Затюканный Апостол», казалась куда интереснее и живее всей журналистской братии. И теперь не могу без стыда вспомнить, как глупо, на самой середине, окончилась моя театральная карьера. На одном из семинаров в газете я по оплошности оставил книжку с пьесой на стуле, и, прилетев на другой день, не обнаружил на прежнем месте. Стыдно было показаться на глаза: книжка была библиотечная, давая её, Зоя Николаевна предупредила, чтобы не потерял. И надо было такому случиться! Не раз вспоминал я об этом в армии. Жалел, что по такой глупой причине не удалось сыграть на сцене. И тогда сыграл пьесу с героями моего рассказа. Художник грузин, из последнего призыва, с которым познакомились в карантине, нарисовал к нему иллюстрации. И мы с другим грузином, поэтом Тамазом Киласонией, не раз любовались ими. Даже, помнится, я пробовал переводить его стихи.

«Хорошее было время! И я был совсем другой. Нет, надо что-то делать, так жить больше нельзя. Вот приедет...»

Но до приезда была целая неделя. И не один раз за это время я вспомнил всё, о чём говорили мы, вспоминал удивлённый Галин вопрос в один из памятных вечеров:

– И как это ты так сразу мог сделать предложение? Ты же меня совсем не знаешь.

– Мне кажется, я знаю тебя давно.

– Странно. И мне так почему-то кажется... А вчера я видела тебя во сне. Мы шли... Нет, не скажу, а то не сбудется...

– Что такое? Что не сбудется?

– Не скажу.

– Я буду плакать.

– Ладно, – соглашалась она. – Только не смейся. Идем мы с тобой по улице, кто-то тебя задел, началась драка, ты рвёшься, а я обхватила тебя сзади, крепко-крепко, да так и проснулась, не выпустив. Тётя Оля Малова (она нам все сны разгадывает) говорит: «Твой будет, раз не выпустила». Я девчонкам, ещё когда тебя не знала, всегда говорила: «Выйду за худенького и маленького».

– Это ты про кого? – возмущался я.

– А ты знаешь, что скоро Святки? – не обращая внимания на моё возмущение, спрашивала она. – Мы на Сяве на Святках всегда гадали. Снег пололи. А бывало, уйду к подружке спать и перед тем, как лечь, скажу: «Сплю на новом месте – приснишь жених невесте».

– Снился?

– Снился.

– Я?

– А то кто же! Или Вовочкины брюки под подушку положу и скажу: «Суженый-ряженный, приходи наряженный».

– Приходил?

– А то как же!

– Я?

– Кто ж ещё? Или спички колодцем сложу под подушкой и говорю: «Суженый-ряженный, приходи коня поить». А мама на Святки под окном чужого дома даже подслушала имена всех своих сродников и папы.

– Римского?!

– Я серьёзно... У нас на участке даже чёртова тропа проходила – не веришь? – мама один раз в лесу даже огненного змея видела. Она пойдёт, и он меж деревьев огнём катится. Она встанет – и он. Перекрестилась, а он как бабахнется оземь. А раз мы с Тamarой с сенокоса от медведя удирали. Вот страху было! Сами же и раздразили: «Мишка-медведь, научи меня реветь, если не научишь, по уху получишь».

– И он, конечно, услышал и расстроился, – делаю я глупое лицо.

Но Галя, не обращая на мою иронию внимания, продолжает всё больше и больше отдаваться приятным воспоминаниям детства.

– Был у нас кот, мясо у всех на участке таскал, а наше – нет. Понимал, видно. А когда нам весь дом отдали (мы в половине сначала жили), и папа стену пропилил, маме та кладовая лучше показалась, она туда мясо и перенесла. Так кот стал таскать. Набьют его, а он опять. Так и съёс его папа в лес. А мама уж потом сообразила: «И что бы, чай, не перенести мясо в старую кладовую! И не таскал бы!». А ещё помню, с Ленкой Вагановой в поход ходили. Наберём пирогов, шанежек в сумку и айда по шпалам узкоколейки. Как участок скроется из виду, мы струсим, всё съедим – и назад. А помню, раз Нину змея укусила. У нас их там тьма! Обвила ногу и укусила. Нога почернела аж до паха. Её скорей на Сяву, а ведь двадцать четыре километра! Врач сказал, возьми змея чуть левее, попади в венку, и ойкнуть бы не успела. Она у нас с тех пор всё болела, и мама её жалела и покупала всё вкусненькое. Мне так завидно было, пойду на улицу, снегу наемся, чтоб заболеть. И хоть бы что! Никогда не болела. Даже не чихнула ни разу. Мы с Тamarой даже мороженое из снега делали, с сахаром намешаем и едим. И ничем не болели!

– А я всеми болезнями в детстве переболел. Мама рассказывала, привезёт меня из больницы, я подойду к двери и канючу: «Хочу домой!» А маму всё тётей звал: «Теть, а, теть». «Да мама я!» Ну, мама так мама, а через минуту опять: «Теть, а, теть!»

– Беденький.

– И вреденький. Помню, у мамы из шифоньера двести рублей стащил, сто Вовке Каузову подарил, а на остальные целую запазуху пончиков накупил, три копейки они стоили, вошёл в класс, а форма на животе аж лоснится (тогда же форма была, с ремнём и фуражкой). Анна Ивановна: «Это что у тебя там такое?!» – «Пончики». «Как пончики?! Откуда столько?» Нарядили следствие. У Вовки деньги изъяли, буфетчицу к директору, вызвали в школу маму... Ох, и лупила же она меня тогда!

– А ещё помню, – продолжал я, – как-то задача не давалась. Не то что решить не мог, а всё мечты... Мама объяснит. «Понял?» – «Нет». «Ты что какой бестолковый?» И за чёлку надерёт. «Сиди и читай внимательнее. И чтобы к моему приходу решил!» А мне уже не до этого. «Вот, – думаю, – свою Ириночку любишь, своего Славочку любишь, а меня не любишь. Вот убегу из дому, замерзну, помру, тогда узнаете». И уже представляю, как меня хоронят, как мама плачет, жалеет, что ругала меня из-за какой-то задачки... И вдруг заходит мама: «Решил?» – «Нет». И я сжимаюсь в ожидании трёпки. Но, к моему удивлению, меня ласково гладят по голове, говорят тихо, проникновенно. Мне стыдно, и я чуть не плачу. И опять ничего не понимаю из маминих объяснений. Но сознаться не хочу, согласно киваю, мама уходит, а я опять предаюсь мечтаниям: «Какой же я нехороший. Мама меня так любит, а я...» И вспоминаю, как холодно и неудобно в доме, когда мама болеет. Пустые кастрюли, тряпки, сор, голодная кошка жалобно мяучит. «А если, не дай Бог, мама умрёт». Мне становится жутко. «Мама, живи сто, двести лет!» А что, может, к тому времени такое лекарство придумают: съел таблетку и живи хоть ещё

двести, хоть триста лет, как Кашей Бессмертный. И всё молодой, не стареешь. В космос все кому не лень будут летать, как Гагарин, который к нам вечером приходил, в зелёной фуражке с кокардой, мы ещё на раскладушке в кухне сидели. Я Анне Ивановне так и сказал: «А к нам Гагарин вчера приходил!» Все засмеялись, а я, чувствуя, как горят мои щёки, прикладываю ребро ладони ко лбу и говорю: «Честное октябрятское!» И с чего взял, что к нам Гагарин приходил? Наверное, потому, что о нём тогда говорили везде и всюду, и даже сам воздух, казалось, был насыщен его присутствием. «И на Марсе ж будут яблони цвести». Входит мама. «Ну что? Как? Всё не решил?» И за двухвостку – плётка такая на стене у нас висела.

– А нас когда папа наказывал, – подхватывает Галя, – всё время сажал на колени и спрашивал: «Я тебя бил?» И попробуй, скажи, что да. И я всегда себе говорила: «Я своих детей никогда бить не буду! Буду их жалеть, кормить из красивой такой посуды».

– А меня?

– И тебя буду кормить... Ты крещёный?

– На дому, в Гавриловке. Бабушка носила.

– И крестик носишь?

– Ещё чего!

– А я после Вовочкиной смерти не снимаю.

Вовочка – старший брат, прошлым летом, в День молодежи, утонул в Киеве, где учился в университете. Как единственный сын, был он, понятно, любимцем матери. «Бывало, попросим, – рассказывала Галя. – «Мам, достань варенья?» А мама: «Вот Вовочка придет...» И такой удар, представляешь, для мамы! И для всех нас. «Я бы, – говорила, – лучше сама умерла!».

– Когда его отпевали в Карповской церкви, я дала обещание, что всегда теперь буду в церковь ходить, а сама... А ты хочешь венчаться?

– Ещё чего!

– Почему?

– Атавизм... И говорить нечего, – возражал я. Она не настаивала, только мечтала вслух:

– А мне так хочется! Так красиво!

– Покажи крестик.

– Не покажу – ты неверующий.

Я начинал декламировать:

В Божий храм вошла старушка.

Свечек накупила.

Где увидела икону – там и прилепила.

Две свечи лишь остаются.

Ставить их куда же?

Вон в углу святой Никита.

Дай его уважу.

А Никита на иконе чёрта гонит боем.

И поставила старушка по свече обоим.

Увидали это люди, бабушку спросили:

*«Ты в уме ли, бабка, ставить свечку
вражьей силе?»*

«Не судите, – отвечает

старушонка людям, —

Ведь из нас никто не знает,

где по смерти будем:

В Божий рай тебя направят,

*али в пламя ада —
Всюду верною подмогой
запасаться надо!»*

– Откуда это?

– Пионервожатая научила, на антирелигиозном утреннике читал. Ещё помню, частушку пел. Самого за баяном не видать, а я пою: «Моя милка заболела, перестала водку пить. На палате написала: «Без пол-литры не входить!» А ты много знаешь частушек?

– Сотни четыре.

– Эх ма! А ещё верующая!

– Какая верующая... Вот бабушка Настя, мамина мама – да. Проснёшься, бывало, а она на коленях молится. Всякие истории нам рассказывала. Про Христа маленького. Как его на лопате, как Иванушку-дурачка, в печь посадили. Печь тут же потухла, и запахло хлебом. Вместо Христа – представляешь? – свежеспеченный хлеб. А когда у нас жила, постами нам мясное готовила, а себе постное. Так мы её похлебки просили. Она нам вкуснее казалась. Ещё рассказывала, когда их раскулачили и её сестру, бабушку Марию, по морозу почти босиком погнали, она только молитвою и спаслась. Молюсь, говорит, и мне не холодно. А многие тогда помёрзли.

– Что-то нас не в ту степь потянуло.

– Да. Давай не будем. А то я заплачу. Мама даже всплакнула, когда узнала, что тебя так же, как брата, зовут.

И вот она улетела. И что с ней, и как она там – ничего не знаю. И то мечтаю о будущем, то извожу себя ревностью.

Вылет самолёта из Таллина дважды задерживали по метеоусловиям. Была оттепель. Весь день шёл мокрый снег. Ветер, слизав с ветвей иней, тащил по обледенелой дороге клочки соломы со стороны скотных дворов. Они цеплялись за уступы сугробов, кусты, уныло мотались в воздухе, как мороженое бельё. К вечеру разветрило, подморозило. Но ветер по-прежнему пронизывал насквозь.

Накануне пришла телеграмма из Таллина. И я уговорил отчима поехать на наших новеньких «Жигулях» встречать. Дважды мы возвращались ни с чем. И лишь далеко за полночь, когда в небе появились звёзды, объявили вылет самолёта. Я побежал сообщить радостную весть отчиму. Он спал, откинувшись назад. На обнаженном лбу его был виден шрам от недавней аварии. Должен был вот-вот приехать на новой машине, ждали со дня на день, и вдруг телеграмма: «Задерживаюсь по важным делам». Это чтобы мы не волновались. Через две недели появился, остриженный наголо, голова в шрамах. Оказывается, заснул за рулём – и улетел с сопки метров двадцать вниз. Слава Богу, остался жив. Разбитую машину продал за полторы тысячи и, приехав, на мои деньги купил эту. Я не возражал: всю жизнь отчим трудился не покладая рук, был искалечен и далеко не молод. Он знал, что я собираюсь жениться, и, когда я сел в машину, опять заговорил об этом. «Может, подождёшь со свадьбой? Видишь, как получилось... Окончим сезон, всё благополучно, а там и сыграем честь по чести. В конце февраля уже ехать надо в Соловьевск». Я по-видимому соглашался, но уезжать на этот раз не хотелось. Я и теперь не находил себе места, а тут – целый сезон. Соловьевск – это же «крайняя точка Москвы», рядом с Тындой.

И чтобы отвлечься, опять стал думать о Гале. Сердце приятно сдавило от предчувствия скорого свидания. «Лишь бы всё обошлось, – подумал я словами отчима и, глядя сквозь лобовое стекло на вывездившееся небо, добавил. – Спаси и сохрани. Или как она мне тогда сказала? «Господи, помилуй?» Я так живо представил себе старушку из Бийской церкви, что у меня опять защипало в носу, а из глубины чёрного стекла как будто выступили огоньки лампад, свечей, маслянистого блеска оклада «Споручницы грешных». Споручнице по ком? По нам?

По ней, находящейся на высоте полёта? И ничего, казалось, не было такого в том, что в этой бесконечной вышине, украшенной мириадами звезд и дымкой созвездий Млечного Пути, о нас знали, за нас молились и просили.

У железной копьёобразной ограды стал собираться встречающий народ. Я вышел из машины. И ещё на подходе услышал голос диспетчера, сообщавшего о прибытии самолёта.

Красавец лайнер, пронзительно свистя турбинами, медленно заходил на место стоянки. К нему подкатил грузовик из багажного отделения, причалил высокий трап. Открыли люк, вниз потекла вереница пассажиров. Образовалась большая группа. А затем все вместе, сопровождаемые проводницей, они двинулись в нашу сторону.

Ещё издали я узнал и не узнал её. Лёгкий, как у стюардессы, берет делал её лицо совершенно особенным. Кто-то шёл рядом и что-то спрашивал у неё, она что-то отвечала, а сама смотрела вперёд, и я с радостью почувствовал: ищет меня. Наконец, узнала, улыбнулась, поманила рукой. Я протолкался вперёд, поцеловал, спросил: «Соскучилась?»

– Ещё бы! А ты?

– Спрашиваешь!

А потом была другая наша разлука, более долгая, и на этот раз уезжал я. Уезжал в сильную, страшную метель. Всю дорогу, пока шли до Новосёловых, снег вихрями ходил над заснеженными крышами Горбатовки, Ивановки и, наконец, Победы. Свет от редких тусклых фонарей зябко ползал по переметённой дороге посёлка. Родители шли впереди, мы, немного отстав, сзади.

– Ты только пиши почаще. Если можно, каждый день, ладно? – говорила она, крепко сжимая мою руку. Ветер поминутно заворачивал полы пальто, и она придерживала их свободной рукой.

Я согласно кивал.

– Всё-всё, – продолжала она. – Мне про тебя всё интересно. И будет не так скучно. Приду с работы – а от тебя письмо. А у тебя от меня! Ладно?

Я опять кивал. Говорить не хотелось. Замолчала и она и всю оставшуюся дорогу шла, как потерянная, очевидно, внутренне, как и я, переживая предстоящую разлуку.

У Новосёловых все были в сборе. Молодая жена была напускно весела, а в глазах знакомая тревога.

Немного обогревшись, пошли весёлой гурьбой на трассу. Предстояло ехать до Дзержинска автобусом, затем вместе с Колей Шаманиным автобусом до Москвы, оттуда с Борисом Орловым, начальником участка, взявшим на всех билеты, самолётом до Читы, а дальше поездом до Невера.

Как назло, автобус подошёл тут же. Стали торопливо прощаться. Поцеловав Галю, я сказал лишь: «Будь умницей», – и, как в преисподнюю, шагнул в тускло освещенный салон автобуса.

С того дня начались мои мучения.

4

К середине апреля они достигли последнего предела. И, странно сказать, ежедневные письма тому немало способствовали. Галя писала довольно подробно, ничего не скрывая, но под воздействием обуявшей меня ревности я видел в них нечто большее, даже порочное. И, хоть и уставал за день на ремонте бульдозера под открытым небом в сорокаградусные морозы, подолгу не мог уснуть, и если засыпал, часто снилась измена, да так убедительно, что я просыпался в ужасе и не сразу понимал, где я.

За несколько дней до перегона бульдозера с рембазы, неподалёку от Тынды, на Инкан, где был наш участок, я вызвал Галю телеграммой на переговоры. Благо, такая возможность

была: в столовой имелся телефон и кто желал, мог звонить за свой счёт. Помню глубокую ночь, а дома было раннее утро, я попросил телефонистку набрать номер совхозного коммутатора, когда ответили – номер нашей квартиры (так у нас тогда набирали). Трубку взяла мама.

– Мама, здравствуй! Как вы там? Где Галя?

– Рядом сидит. Даю трубку.

Что-то стукнуло, зашуршало в ухо, и я услышал её голос, хорошо узнаваемый даже при плохой связи.

– Как ты там? – спросил я.

– Да ничего. Ты почему не пишешь? Пиши больше.

– Что? – не понял я.

– Больше, больше пиши.

– Да я каждый день пишу!

– Ничего не слышу! Ой, трещит что-то.

И голос мамы:

– Чего ты там говоришь?

– Спокойной ночи!

– Да у нас утро скоро. Как отец? Всё в порядке?

– Да.

– Ну, всё, что ли?

Я обиделся: как она не понимает?

– До свидания.

Послышались гудки. Разговора не получилось, но странно, я словно побывал дома. И многое из недавнего прошлого всплыло в памяти. И всё, конечно, было связано с ней – с Галей, с такой далёкой и такой близкой.

Я бежал по скрипучему снегу к бараку, зябко кутаясь в тулуп, накинутый на одну рубашку. Было тихо и, как всегда, морозно, как у нас и в январе не бывает. А был апрель.

Перегонять бульдозеры нам велено было по ночам, тайно от дорожников и местного начальства. Хорошо помню перевал, долгий и однообразный подъём. Глянув под утро сверху на подножие горы, я ужаснулся: заходившие на подъём машины казались меньше спичечных коробков. У нас подъем отнял полночи. Пора было уходить в сторону, в тайгу, и дожидаться вечера.

Коля Шаманин, с которым мы в тот сезон собрали бульдозер, осторожно спустился вдоль склона и, отъехав на приличное расстояние, заглушил двигатель. Противоположная сопка была сплошь покрыта вытаявшими по весне чёрными пнями – работа лесорубов. Под стройным кедром развели костёр, согрели воды в кружках, разогрели тушёнку, нарезали хлеб, достали соль, очистили репчатого луку.

Солнце вставало дымное, длинная сизая тень пересекала ложбину, по которой бежала река, снег вдоль русла обтаял, обнажив неровный, с седыми жёлтыми наплывами лёд. И пока не поднялось выше, сидеть у костра было приятно. Зябко подбирался со спины под тулуп холодок, но от костра и горячего чая был почти не заметен. Я задремал, разморённый жаром.

Проснулся от обильного света и первое время долго не мог открыть глаза. Солнце стояло прямо над головой, всё вокруг зеркально сияло. В лёгком веянии ветерка ощущалось дыхание весны. Такое знакомое, такое волнующее! И мне страстно захотелось домой. Который год, словно каторжник какой-то, весну, лето и осень, самую счастливую пору года я проводил в тайге.

«Коль чувствуешь ты головокружение, кружись в другую сторону – поможет», – пришло вдруг на память. – А что если и впрямь в этакой-то прелести закружится у неё голова?»

И я вспомнил, как однажды она пела своим чистым, прекрасным голосом:

*Помню, я ещё молодухой была,
Наша армия в поход куда-то шла.
Вечерело, я стояла у ворот,
А по улице всё конница идёт.
Как подъехал ко мне барин молодой.
Говорит: «Напой, красавица, водой!»
Он напился, крепко руку мне пожал,
Наклонился – и меня поцеловал.
Долго я ещё глядела ему вслед,
Помутился предо мною белый свет...
Всю ту ноченьку мне спать было невмочь:
Раскрасавец барин снился мне всю ночь.*

Если тогда меня царапнула эта песня, что говорить теперь.

Николай безмятежно спал в бульдозере, раскрыв беззубый рот. Лет двенадцать он не вылезал из тайги, и не сказать, что был богаче тех, кто тут ни разу не был. Имел, правда, кооперативную квартиру в Дзержинске, за которую до сих пор ещё не расплатился, и только. Ещё не очень старый, моложе отчима, он выглядел, как старик. Сказывалась и тяжёлая работа, и, конечно, вино.

Под волной нахлынувшего настроения, мне вдруг стало жаль и его, и себя, отдавшего почти четыре года старательской жизни. Ради чего? Что мне было? Двадцать четыре, а я уже потерял несколько зубов, заработал радикулит, и главное, как почувствовал зимой, растерял много хорошего, незаметно огрубел. Ради чего?

Под воздействием весенних перемен, обострившихся запахов хвои, влажного ветерка, от воспоминания песни я почувствовал особенно остро всю хрупкость своего счастья, его ранимость и возможность потерять навсегда. Мне стало страшно.

«Надо ехать домой! Плюнуть на всё и ехать, что бы ни говорил отец! Ему что, его всю жизнь откуда-нибудь ждут. Из Германии, помню, ждали года два, где он работал по найму. С целины, куда уезжал на уборочную. Из дальних рейсов. Теперь с Севера... Свою мечту он осуществил: машина в гараже. А мне ничего не надо. Если, не дай Бог, без неё – на что мне всё? Так и скажу: «Уезжаю!»

Только на вторые сутки прибыли мы на участок, где вовсю уже шла рубка бараков, столовой, ЗПК (золото-приемной кассы), домика начальника участка. Будущие мониторщики тешились тем, что столовую поместили на огромном пне, на кинутых крест-накрест лесинах. Срубали её шестиконечной, с пятью окнами и над входом прибили табличку: «Золотой улей». А перед тем целый день горячо спорили, как правильно, «улей» или «улий»? На мою версию не обращали внимания: откуда им было знать, что я бывший писатель. «Как хотят: мне тут не жить и в вашем «улие» не есть». И всякий раз, отправляясь утром на смену, расшвыряв крупчатый снег, я набирал горсть мороженой брусники и жевал её, чтобы возбудить аппетит. Я совсем перестал есть, похудел так, что даже однажды Раиса Ивановна, жена Бориса Орлова, заметила:

– Ты не заболел? Надо провериться. Я скажу папе.

На другой день Борис Михайлович, встретив меня, сказал:

– Езжай в Соловьёвск с отцом: он сегодня за продуктами едет.

Я уныло кивнул и пошёл собираться. Уныния на самом деле не было, сердце радостно стучало в груди, я был почти здоров. В бараке меня встретил Пашка. Он один догадывался о настоящей причине отъезда и пожелал счастливого пути. Для него самого тот сезон станет последним, я буду принимать из роддома его дочь, а осенью он мне скажет: «Больше не поеду, хватит: семья до роже».

Река уже вскрылась, и мы едва перебрались на «Захаре», как величали ЗИЛ-157, через ручей и потащились по разбитой таёжной дороге к трассе. Я всё, помнится, хотел и не решился заговорить.

– Может, тебе каменного масла достать или мумиё? – приставал отец. – Не дай Бог, язва. Какие тут врачи? А ты бы картошку натирал и ел сырую. Говорят, помогает.

– Да нет у меня никакой язвы!

– Откуда знаешь?

– Оттуда. Я домой уезжаю. Совсем.

– Как?

– Так! Хватит!

Он обиделся.

– Тяжело мне, понимаешь? Не могу больше. Она там, я здесь.

– Да-а ла-адно-ка тебе ерунду-то ещё говорить! Куда она денется? Приедем, такую свадьбу закатим!

– Неужели ты не понимаешь?

Но он, похоже, не понимал, а мне как-то совестно было обнажать перед ним дорогое мне чувство.

– Да ну тебя!

И мы чуть было не поссорились. На трассе у двигателя пропало давление, машина встала. Я вышел и стал голосовать.

– Может, передумаешь? – ещё раз спросил он и, наконец, махнул рукой: – Делай, как знаешь!

В Соловьёвске, в ожидании перевода из дома, куда послал срочную телеграмму, я жил в гостинице, в грязном длинном деревянном бараке.

И тут была весна. С гор бежали ручьи, собираясь в лужи, ослепительно сияя на солнце.

Наконец, пришёл перевод. Я ехал через Хабаровск, куда добрался от Невера поездом. В аэропорту, ввиду надвигавшихся майских праздников, билетов до Москвы, конечно, не было. Картина известная. И тогда я сбегал в буфет, купил коробку дорогих конфет, бутылку шампанского и, зайдя с другого конца, разумеется, тут же получил билет и через два часа уже сидел в Ил-62, который преодолел это пространство без посадок за шесть часов. Выходило даже забавно: во сколько по-местному вылетел, во столько по-местному же и прилетел. Весь путь солнце шло вровень с самолётом.

А затем ночной поезд притормозил на минуту у обшарпанной станции «Доскино». Я самостоятельно открыл дверь, поднял площадку и уже на ходу спрыгнул на землю. Слава Богу, не ушибся.

У нас уже всё было в цвету. Вся Горбатовка, через которую шёл, была задымлена цветом вишни. Ночной воздух бодрил. Тени были густы и таинственно заманчивы. Всё было родное, всё было милое и говорило о скорой встрече с ней.

Дома, пока тщательно отмывал в ванне старательскую грязь, Ирина сбегала в общежитие. Сквозь шум воды, я сразу узнал её голос. Заторопился, наскоро обтёрся бархатным полотенцем и, одев всё чистое, словно воскресший, вышел.

Галя сидела в знакомом кресле, как сидела в нём много раз прежде, спиной ко мне, положив на колени руки, толстая коса свисала на грудь. Свет торшера падал на её руки, тревожно теребившие что-то. Я подошёл и, задыхаясь от волнения, обнял её сзади.

5

Свадьба наша, как и у всех непутёвых, была за пять дней до конца Петровского поста. Тогда я не придавал этому значения. «Вон и вовремя женятся и венчаются – и не живут», –

говорил я и не хотел ни того и ни другого. Создавалось ещё одно случайное семейство. И не будь тех особенных событий, не знаю, осталось ли бы что от него.

Месяца за полтора до свадьбы мы ездили на Сяву свататься. Поездка эта явилась для меня целым открытием, тогда не вполне оценённым, но впоследствии побудившим переменить многие взгляды на жизнь, на историю своего народа, прямым представителем которого оказалась моя невеста. Совсем не то, о чём мечтал, и слава Богу: воздушные замки с розовыми облаками не имели под собой почвы для «семейного счастья», а тем более для Божьего домостроительства в нашем отечестве.

В чём заключалось это открытие?

Теперь кажется, во всём: в воздухе близких хвойных лесов, в гостеприимстве радушных хозяев, в беспечной девичьей радости младших сестёр, всей набежавшей по такому случаю родни, в незатейливом убранстве кухонки, печки, с расшитыми тёщей занавесками над творилом, всех этих рушников, прихваток, скатертей и накидок, маленькой клетушки за дощатой перегородкой, с шифоньером, в ящике которого, по рассказу невесты, когда только внесли в дом, они с сёстрами по очереди лежали, а ещё – с тем же и даже большим усердием прибранной передней в два больших окна, с любовно украшенной божницей, мастерски расшитыми белыми занавесками, оборками, скатертью на раздвижном столе, свисавшими с кровати подзорами, в стопе самодельных пуховых подушек, с вышитыми гладью наволочками, в домотканых половиках, ковриках. Во всём ощущалось заботливое дыхание древности, лучин, девичьих забав, любовного виения домашнего уюта, а ещё того пушкинского Лукоморья, «где лес и дол видений полны», со всеми его лешими, домовыми и русалками, чешущими корявыми гребнями длинные зелёные косы («Сама видела», – уверяла сказочная рукодельница, с неким мистическим оттенком в выражении глаз, и, конечно, золотыми руками). Изделия её стали теперь музейной редкостью, уводящей в сказочный мир изразцов, стёжек, ширинок, подзоров, каймы, глади, половиков, всего прочего, что у того же поэта выражено в словах, от которых так таинственно замирает сердце: «Там русский дух, там Русью пахнет».

Пахнуло ею и из печи: пряжениками, оладушками, пирогами, пшенниками и лапшенниками в глиняных плошках, щами в огромном чугуне, деревенским пивом с хмелем, по сладковатому вкусу и цвету напомнившему ядрёный бабушки Марфы квас, который пила вся деревня Казыевка в жаркую сенокосную пору, пили и мы, босенькие, неугомонные, неистоимые на разные выдумки ребятишки. Бражничанье или «породнение» в такой знаменательный день для всей ближней и дальней родни составляло неотъемлемую часть торжества. И не прекращалось все три дня нашего пребывания. Хождение по родне, с приглашением на свадьбу, неминуемые застоля, песни, посошки, провожания, с организацией новых застолий и посошков. Казалось, вся разбросанная по болотам и хвойным лесам Сява была хмельна и пьяна, встречая и провожая нас радостными бесхитростными улыбками её лесных обитателей. Любовь, которую мы были полны, казалось, передавалась всякому встречному, как и в каждом селе, непременно знакомому, а то и в родне, где-то в четвертом или пятом колене, на всех этих кумовей, сношенек, деверей, шуринов, свояков, своячениц, сватьёв, внучатых племянников и племянниц, без чего немислима, казалось, сама Русь, и теряет, если отнять, не только цвет, но и запах. Помните?

*Сват Иван, как пить мы станем,
Неприменно уж помянем
Трёх Матрён, Луку с Петром,
Да Пахомовну потом...
Да ещё её помянем:
Сказки сказывать не станем —
Мастерица ведь была*

*И откуда что брала?..
А куды разумны шутки,
Приговоры, прибаутки,
Небылицы, былины
Православной старины.*

Нас встречал тесть Николай Андреевич Лебедев. Далеко за полночь небольшой тепло-возик притащил из Тоншаева три прицепных к «Вятскому» поезду вагончика на похожую на нашу неказистую доскинскую станцию.

– Здорово живите! – сказал он.

И, легко подняв тяжёлый чемодан на плечо, уверенно зашагал впереди по ночному посёлку. За все четыре километра то уезженной, то ухабистой торфяной дороги он не проронил ни слова. Мама, чтобы не отстать, чуть не бежала следом. Мы, под ручку, с котомками, сзади. Всю дорогу, глядя на однообразные, обитые досками бараки и дома, на двух и четырёх хозяев, сельмаг, обычные избы, колеи по колена от лесовозов посередине главной улицы, на всю эту Смолокурку, где среди болот, почти в воде и трясине, они, облагодетельствованные родною властью, жили, я представлял то изобилие змей, комаров, лягушек, зверей и, как уверяла невеста вслед за тещей, всяких чертей, оборотней и русалок, с ужасом думал: «Какая дыра! Как они тут могут жить?»

Но то были ещё цветочки. Когда мы свернули с большака, ещё кое-где освещенного не разбитыми из рогаток лампочками, обличавшими хоть какое-то проявление цивилизации, и дорога пошла то вдоль заборов, то по хлюпавшим по непросыхаемым лужам доскам, едва различимым во тьме, а пахнувший ветерок донёс запах гнилых болот и бесхозной окраины, заваленной пружинившими под ногами опилками, я проникся к своей избраннице жалостью. И странно, она тут же чутко уловив моё настроение, спросила:

– Чего?

Я зябко дёрнул плечами, хотя была очень тёплая майская ночь, и, как и везде, всё цвело, распускалось, стрекотало, но гораздо залиvistее и громче – лягушки за чернотой сараев, за ещё затопленными талыми водами огородами, в трясине болотного марева.

– Озяб? Ты весь дрожишь.

– Не знаю, чего-то... Послушай, как бьётся, – я приложил её ладонь к груди.

– И впрямь – как у воробья! А мне так хорошо! Ты боишься? Чего?

Не потери же свободы я боялся? И, однако, чувствовал, что со мною происходит что-то очень важное. Бог был рядом, близ, так близко, что присутствие Его было и хорошо, и страшно.

У калитки Николай Андреевич снял с плеча чемодан и, пропуская нас в распахнутую калитку, сказал:

– А тяжолой... Проходитё, проходитё... – тем местным наречием, про которое ходит такая частушка:

*Рибятё вы, рибятё,
Где вы деньги бирятё?
Вы по баням лазитё?
Чугуны воруютё?*

Мы вошли на остекленную веранду, с вместительным чуланом, где стоял самодельный станок для витя из лыка верёвки, чем промышляли копеечку. Промышляли и сенокосом, как рассказывала Галя, и ходили на участок аж за двадцать четыре километра пешком. В такую-то жару, да по такому-то бездорожью, топи, с таким обилием гнуса и гадюк! Ставили стожки, навивая на полозья, а зимой перетаскивали трактором для скотины и продажи. Промышляли

и клюквой, и брусникой, таская с такой же дали вёдрами и продавая за бесценок. Девочек надо было одевать, обувать, готовить приданое. И всех одели, обули, выдали честь по чести. Сами же, особенно тёща, до того сплеховали от непосильного труда, что уже тогда выглядели старше моей мамы, просидевшей большую часть жизни в отделе кадров, тёща вообще ходила не распрямляя спины, а последние годы – только опершись на санки. От всей её прежней красоты («У мамы талия была, как у осы», – уверяла Галя) осталось лицо и, как уже сказал, мистически скорбные очи. Уж они-то, Лебедевы, понимали, что «будущее» вовсе не «светло» и не «прекрасно», и трудились не для него, а ради той любви, что вложил в их простые сердца Бог, то есть ради семьи.

Тёща, Валентина Федоровна, по отчеству тёзка маме, встретила нас на пороге с иконой. Тесть протиснулся вперёд, взял с кухонного стола вместе с рушником пахучий, очевидно, для такого случая испечённый каравай, с солонкой наверху. Мы опустились на колени. Под воздействием происходящего со мной это не показалось странным, а таким же многозначительным, что я чувствовал в себе.

Мы поцеловали икону. Затем по очереди кусали хлеб. И надо было зачем-то откусить как можно больше, что, кажется, что-то означало, но я, застеснявшись, откусил чуть-чуть, так же и невеста.

– Ну-у, слыш-ка, и едоки! – сказал, засмеявшись, Николай Андреевич.

Мы встали с колен, нас расцеловали и поздравили. За перегородкой, за занавесками вместо двери, послышался девичий шёпот и очевидно скрываемый в подушках смех. Когда я заглянул туда, сестрицы взвизгнули и со смехом закрылись одеялом. Смеялись так заливисто, что мне самому стало смешно. Потом верх одеяла немного сполз вниз, показались две черненькие головки, блеснули любопытные глаза. И опять с визгом и смехом исчезли под одеялом.

– Ну вы, будитё! – обронила им тёща.

И повела нас в переднюю. Стол был разложен и пододвинут к дивану, слева от входа. Разные закуски из своих солений и варений стояли на нём. Патриархально пахло пирогами. Запах наполнял весь дом.

К утру, которое подкралось за незатейливой беседой, состоявшей по большей части из перечисления родни, сетования на недуги, разговоров о немудрёном хозяйстве, изложения всех тайн и секретов, более живее и любовнее – о прошедшей молодости, когда, по их мнению, «жилося куда лучше», – стала сходиться родня. Сестра Тамара уже сбегала и сообщила: «Ой, тёть Дуся, такая интеллигенция!» И с чего взяла? Входили с радостными улыбками и, говоря одно и то же «здорово живитё», как бы нехотя и ненадолго присаживались к столу. Поначалу, пока не пропустят по первой, чинились и не хотели закусывать. На меня, будто стесняясь, старались не глядеть, обращаясь то к тёще, то к сидевшей рядом невесте с отвлеченными вопросами типа: «Ну, как оно? Ничего жисть-то?». Затем хмелели, добавляли, непременно после выпитого либо морщились, либо махали обеими руками перед открытым ртом, чтоб загасить пламя пожара и, похрустев аппетитно соленой капустой, уже не отрываясь, глядели на меня умиленными глазами и наперебой приглашали: «К нам, к нам приходитё!»

Я согласно кивал кудрявой головой и тоже глупо улыбался, вспоминая, как сидевшая против меня, очень ретивая и заводная тётя Дуся, сноха, таскала с тёщей на пару «на себе из Бибнёва или Панина, не помню, – сказывала Галя, – от участка вёрст за семь, по мешку муки». «Тётя Дуся вообще такая была пронира. Помню, мы в Высоковку какую-то ходили, так она все склады проверила, где что лежит и нельзя ли чего стащить». Разговаривала и приставала с вопросами в основном она же, тётя Дуся. Мужики пили молча и почти не закусывали. Я думаю от того, чтобы не объесть. Это и в нашей родне водилось. Так что я несколько не удивлялся, когда слышал постоянные вопросы тёщи: «Вы чё ничё ни ядитё? Ядитё, ядитё! Пирогои чё ни бирятё? Бяритё, бяритё!!»

Тогда не дошло до песен, но от невесты я знал, что обычно дядя Миша, тётки Дусин муж, разводил двухрядку и, спев сначала свою любимую «Раскинулось море широко», заводил частушки. «Мама, знаешь, чего пела?»

*Лет в семнадцать и не боле
Вышла замуж я за Колю —
За танцора,
Эх, за танцора!
Он вино-то попивает
И меня-то побивает,
Но зато – танцор,
Эх, танцор!*

Остальное, как у нас: вся Россия жила на один манер, веселилась, плакала, чувствовала – как одна большая семья.

Тесть, подпив, разговорился, стал рассказывать о себе. До революции они имели мельницу, семья была крепкая, работающая, «там кулачить начали», так их перетак, добрые люди вовремя подсказали продать всё и бежать из родных мест. Затем война, воевал танкистом, вернувшись со службы, женился «на Валушке вон и, слыш-ка, живём, а!». Затем приехали на участок, больше из упрямства он в тётчиной деревне, она в его не захотели жить, с тех пор работал трактористом, а тётка на участке Первомайском, где сначала жили, по хозяйству, с детьми, со скотиной, на сенокосе, в лесу – по грибы, по ягоду, драла лыко – обычная жизнь. На Сяве работала на выпечке в столовой. Николай Андреевич говорил и ко всякому месту прибавлял: «Порядок был! А теперь што? О-ой, што бутё-от! О-ой!»

– Да што будёт, што будёт? – кричала ему через стол тётка Дуся.

– Подымеца народ – вот што будёт! О-ой!

– Да на што подымеца-то? Будёт, будёт! Вас, пьяницов, забояца, што ли? Только зря болтайтё! Будёт, будёт! А ничё и не будёт!

– А я говорю, будёт! – серчал он.

Дело принимало крутой оборот. Мирно беседовавшая с мамой, сидя рядом с нами на диване, тётка поворачивалась и роняла:

– Перестантьё! Дуся! Батько! Перестантьё!

– Фёдоровна, скажи: будёт? – обращался тесть к маме, как к авторитету.

– Будет, будет, – улыбаясь, уверяла его мама.

Он сразу успокаивался и обращаясь к тётке Дуся:

– Во-от! А ты – не бу-удёт!

6

Потом была свадьба в нашей совхозной столовой, запечатлевшаяся в памяти обузой или тяжёлой обязанностью, оставаясь одними не пьяными в общем веселии, исполнять всякое вдруг возникшее в хмельной голове желание: «Ой, горько-то ка-а-ак! Надо маненька подсластить, а то пить нельзя: одна горечь». Мы целуемся. «Ну-ка, ну-ка, – пробуют, морщатся. – Ещё посластить надо. Горько!» Все подхватывают, мы опять целуемся. Пробуют и, расплываясь в глупой улыбке: «Во-от! Теперь хорошо – сла-а-адко!» И так всю ночь. Затем ходьба по совхозу, чтобы все видели, в сопровождении пляшущих и поющих гостей, и так до вечера. Потом тепеловое провозжание родни. Со всеми непременно надо было расцеловаться, особенно любила целоваться наша родня, и, в первую очередь, дядя Гена Мухаров, хлебом не корми, а дай когонибудь обмуслякать, много раз надо было заверить, что обязательно приедем в гости.

И, наконец, мы одни.

В квартире нашей непривычно тихо после недавнего шума. Родители ушли в гости к Березиным, отчимовой сестре, Ирина с ними, а мы сидим – Галя в кресле у торшера, я у её ног – и молчим. А впереди целая жизнь, которая, казалось, обещала одни только радости впереди.

Но радостей, если они и были, было не много. По большей части то время, до «исхода из земли Египетской», вспоминается с угрызением совести. О том ли мечтал, того ли ждал? Рукописи лежали похороненными в столе, казалось, уже навсегда. Я работал шофёром в совхозе. Всё чаще меня посещала мысль о несостоявшемся счастье. Появлялась жалость к себе, желание любым способом выбраться из этого порочного круга, в какое-нибудь иное, уже настоящее счастье. Неужели же нет другой жизни, а вот так, до могилы – одно и то же, одно и то же?

А тут ещё пришла болезнь. Больница, и почти каждое утро морозный туман за окном, сумерки такой же белой палаты, свет и день, обещавший столько ненужного времени впереди. Со мною лежал пожилой учитель истории из какого-то района. Желчный, опухший, с болезненно вздутым животом от цирроза, он умирал на моих глазах, понося всё и вся, всем недовольный, всеми, казалось ему, обиженный, брошенный даже единственной, где-то в дали живущей дочерью. Он отдал советской школе, как рассказывал, всю жизнь и с ненавистью говорил о детях, которые, несмотря на вдалбливаемые в их «вшивые головы» светлые идеи, превращались вовсе не в «строителей», а если и «звучали», то так гордо, что лучше «не тронь – пойдёт вонь». Ничего не дождался и он, живший при начале «мирового пожара в крови», ничего, кроме неизлечимой болезни, и уходил без всякой надежды, обманутый, ограбленный, не состоявшийся. Жалко было на него смотреть, ещё жалче было себя. В груди всё сжималось от страха, когда приносили анализы, или врач-практикант во время осмотра что-то внимательно разглядывал на моём теле. Ещё более проникался жалостью к себе, когда приезжала Галя, румяная, свежая от мороза, в знакомом с таллинской поездки беретике. Смотрела любящим и вместе с тем каким-то похоронным взглядом. Интересовалась, как я и что говорят врачи. Рассказывала о дочери, как обычно, подробно. А я удивлялся тому равнодушию, с каким слушал её.

Затем меня перевели в другую палату, к двум бывшим бравым фронтовикам (какой только правды о войне не наслушался я от них), оба теперь лежали с инфарктами. И однажды лечащий их молодой врач, глянув на меня, сказал: «Что смотришь? Через двадцать лет такой же будешь!» Меня как прострелило. Кровь ударила в голову. Я так обиделся, что едва сдержался, чтобы не нагрубить. Вышел из палаты и, бродя взад и вперёд по длинному коридору, думал, перебирая в памяти прошлое, от самого детства, вообще всё и уже ночью, стоя у окна, глядя на зазывно мерцавшие бесчисленные огни ночного города, сказал: «Хватит!» – «Ты говорил уже это, когда вернулся с сезона, помнишь?» – возразил внутренний голос. «Говорил, – согласился я. – А теперь всё – хватит!»

7

С того дня и начались мои нравственные метания. Так жить было нельзя, а как надо, я не знал. И целыми часами то перелистывал рукописи, то пропадал в совхозной библиотеке, отыскивая нужную книгу или такую книгу, которая открыла бы глаза, указала путь. Но там были всё те же книги, и лишь единицы из них говорили или упоминали о главном, и то неопределённо. Создавалось впечатление, что авторы сами ничего не знали, в лучшем случае предлагая утолить жажду водой с прекрасно написанной картины.

Пробовал писать. Выходило беспомощно, вычурно, выдуманно. Опять принимался за чтение, вникая в особенности стиля. Затем опять садился за стол, вымучивал несколько витиеватых фраз или стишков, приходил в отчаяние, с ужасом ощущая себя конченным человеком.

И вот, наконец, литобъединение... То была хоть какая, а отдушина среди общего пафоса, если не сказать, смрада лжи «строителей коммунизма». Никто из них его тогда уже не строил, а строили карьеры, пристраивались и устраивались, но саму атмосферу всеобщей лжи и лживости распространяли вокруг себя, как вокруг общественного туалета, с необыкновенным усердием, организовано. Всеобщей ложью, казалось, смердил даже воздух, а всякое правдивое слово воспринималось как подвиг. Точно над Россией возвышался мифический Фамусов и на всякое непокорное движение вседовлеюще заявлял: «Не смей своё суждение иметь!»

В литобъединении, а чаще у руководителя Валентина Арсеньевича Николаева дома, нередко на балкончике за чаем, мы говорили обо всём достаточно откровенно.

А потом умерла бабушка Шура.

Похороны выпали на два больших праздника: Благовещение и Вербное воскресенье. И хотя старушки, бабушкины ровесницы, шамкая беззубыми ртами, напоминая покойницу, уверяли, что «это очень хорошо, радоваться надо», я ничего, кроме горечи от невосполнимой утраты, не испытывал. Странно, пока бабушка жила, я почти не замечал её. Присутствие её было обычным и привычным, как существование воздуха. Подобно лишению воздуха была и утрата. Воздух был – и вдруг его не стало, как же это могло случиться? Давно, с самой её нечаянной болезни (поскользнулась в гололед, что-то оборвалось внутри, как уверяла сама), всеми ожидаемой и такой неожиданной кончины, всесокрушающее дыхание «неумолимой и неотвратимой» не посещало наш род. Ни уверения старушек, ни тревожное и трепетное горение свечей у гроба, в гранёном стакане с солью пред буханкой хлеба, лежавшей у подножия единственной бабушкиной иконы (как оказалось потом, когда сняли оклад, написанной каким-то дореволюционным кощунником и неизвестно откуда и когда попавшей в заветный уголок), ни сосредоточенный огонёк лампадки, ни монотонное пение дрожащими голосами старушек: «Житейское море воздвигаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу Твоему притек, вопию Ти: возведи от тли живот мой, Многомилостиве», – ничто не могло умалить той внутренней драмы, которую переживал я при виде «красивой», как уверяли влюблённые в смерть старушки, бабушки. Ничего «красивого», даже мало-мальски привлекательного я не видел. «Не ходи прохожий, не топчи мой прах: я теперь дома, а ты ещё в гостях», – прочёл я на вложенном в потрёпанный, зачитанный до дыр, закапанный воском псалтырь листочке сочинённую простонародием эпитафию – одну для всех. И выходило, что оно, вот это ещё совсем недавно живое любимое и любящее всех нас существо, «теперь» дома или там будет, под двухметровым слоем сырой земли, под похожими на домовину холмом, а мы, в этом роскошном мире, в гостях. Впервые, пожалуй, так неубедительно и кощунственно выглядела известная поговорка: «Как ни хорошо в гостях, а дома лучше». Страшным холодом несло от этого дома, куда волей или неволей должен был вернуться каждый. И я вспомнил, как ещё позавчера рано утром нас разбудил сильный стук в дверь и тревожный голос тётки Лиды Мухаровой: «Вова, Галя, откройте!» И я сразу подумал: «Случилось!». И наша девятиметровка в том же двухэтажном бараке, где жила бабушка, только с другого конца, наполнилась жутью. «Что, Лидия Фёдоровна, что? – спросила взволнованно Галя, по оставшейся с вечерней школы привычке, где тётушка работала директором и преподавала русский и литературу, величая её по имени отчеству. «Мама... только что... – шмыгая покрасневшим носом и отирая платком воспалённые глаза, стала рассказывать она. – Часу во втором ночи ей стало плохо, застонала. Я: «Мама, милая, пожалей ты меня. Куда я в такой час побегу? Не помирай». И как слышала. Только сейчас умерла. Вздохнула, поморщилась – и затихла. Надо ведь – и в последнем не отказала!.. Мама, мама!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.